Борхес — это автор, который говорил обо всем. Невозможно найти в истории культуры темы, которой не коснулся бы Борхес.

Умберто Эко



ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Сад расходящихся тропок

PREMIUM

Сад расходящихся тропок
Хорхе Луис Борхес

Аннотация
Хорхе Луис Борхес. Сад расходящихся тропок
Сад расходящихся тропок
  Предисловие
  Тлён, Укбар, Орбис Терциус,
  Пьер Менар, автор «Дон Кихота»
  В кругу развалин
  Лотерея в Вавилоне
  Анализ творчества Герберта Куэйна
  Вавилонская библиотека
  Сад расходящихся тропок
Выдумки
  Предисловие
  Фунес, чудо памяти
  Форма сабли
  Тема предателя и героя
  Смерть и буссоль
  Тайное чудо
  Три версии предательства Иуды
  Конец
  Секта Феникса
  Юг

Аннотация

Хорхе Луис Борхес – один из самых известных писателей XX века, во многом определивший облик современной литературы. Тексты Борхеса, будь то художественная проза, поэзия или размышления, представляют собой своеобразную интеллектуальную игру, – они полны тайн и фантастических образов, чьи истоки следует искать в литературах и культурах прошлого.

В настоящее издание полностью вошли два сборника художественной прозы Х. Л. Борхеса: «Сад расходящихся тропок» и «Выдумки». Волшебные истории соседствуют здесь с детективными сюжетами, описания вымышленных цивилизаций – с приключениями аргентинских контрабандистов.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Хорхе Луис Борхес
Сад расходящихся тропок

Jorge Luis Borges
FICCIONES
Copyright © 1995, María Kodama
All rights reserved

Азбука
PREMIUM

Серия «Азбука Premium»

Перевод с испанского Виктора Андреева, Бориса Дубина, Кирилла Корконосенко, Валентины Кулагиной-Ярцевой, Евгении Лысенко, Юрия Стефанова

Серийное оформление и оформление обложки Вадима Пожидаева

© В. Н. Андреев, перевод, 2011
© Б. В. Дубин (наследник), перевод, примечания, 2021
© К. С. Корконосенко, перевод, 2021
© В. С. Кулагина-Ярцева, перевод, 2000
© Е. М. Лысенко (наследник), перевод, 2021
© Ю. Н. Стефанов (наследники), перевод, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®

* * *

Эстер Семборайн де Торрес[1]

[1] Примечания: 1

Эстер Семборайн де Торрес — аргентинская писательница, позднее — соавтор Борхеса; они выпустили вместе книгу «Введение в литературу США» (1967). *(Прим. Б. Дубин)*

Сад расходящихся тропок

Предисловие

Семь произведений, составляющих эту книгу, не требуют особых разъяснений. Седьмой рассказ («Сад расходящихся тропок») — это детектив, читатели которого окажутся свидетелями совершения преступления, а также проследят за всеми приготовлениями к нему. Замысел преступника не будет скрыт от читателя, но, как мне кажется, и не будет им понят вплоть до последних строчек. Остальные рассказы написаны в жанре фантастики. Одному из них — «Лотерея в Вавилоне» — не чужд грех символизма. Что касается «Вавилонской библиотеки», то я не первый автор этого сюжета. Тем, кому интересны его история и предыстория, я могу предложить обратиться к одной из страниц пятьдесят девятого номера журнала «Юг»[2], где перечислены столь несхожие имена: Левкипп и Лассвиц, Льюис Кэрролл и Аристотель… В рассказе «В кругу развалин» нереально все; в «Пьере Менаре, авторе „Дон Кихота“» важно то, что внушает его главный герой. Список

[2] Примечания: 2

…пятьдесят девятого номера журнала «Юг»… — Речь идет об эссе «Всемирная библиотека». *(Прим. Б. Дубин)*

произведений, которые я ему приписываю, не слишком-то занимателен, но он вовсе не произволен: это некая диаграмма истории его разума.

Труд составителя толстых книг, труд того, кто должен растянуть на пятьсот страниц мысль, полное устное изложение которой занимает считаные минуты, тяжкий и изматывающий, сродни безумному бреду. Лучше поступить следующим образом: сделать вид, что эти толстые книги уже написаны, и предложить читателю их резюме, какой-то комментарий к этим текстам. Так поступил Карлейль в «Sartor Resartus», так же — Батлер в «The Fair Haven»[3], [4]. Несовершенство этих произведений состоит в том, что они — тоже книги, при этом ничуть не менее вторичные, чем все другие. Будучи более практичным, более бездарным и более ленивым, я предпочел создавать комментарии и примечания к воображаемым книгам. Таковы «Тлён, Укбар, Орбис Терциус» и «Анализ творчества Герберта Куэйна».

---

[3] Примечания: 3

«Милый приют» *(англ.).*

[4] Примечания: 4

«The Fair Haven» (1865) — религиозный трактат С. Батлера, написанный от лица некоего покойного Джона Пикарда Оуэна и сопровожденный заметками и комментариями к нему. *(Прим. Б. Дубин)*

Х. Л. Б.
Буэнос-Айрес, 10 ноября 1941 г.
Перевод В. Андреева

Тлён, Укбар, Орбис Терциус[5], [6]

I

Открытием Укбара[7] я обязан сочетанию зеркала и энциклопедии. Зеркало тревожно мерцало в глубине коридора в дачном доме на улице Гаона в Рамос-Мехиа; энциклопедия обманчиво называется «The Anglo-American Cyclopaedia» (Нью-Йорк, 1917) и представляет собою буквальную, но запоздалую перепечатку «Encyclopaedia Britannica» 1902 года. Дело было лет пять назад. В тот вечер у меня ужинал Бьой Касарес[8] и мы засиделись, увлеченные спором о том, как лучше написать роман от первого лица, где рассказчик

---

[5] Примечания: 5

Орбис Терциус — третий мир *(лат.).*

[6] Примечания: 6

В новелле есть отзвуки фантастического романа К. С. Льюиса «С молчаливой планеты»; Борхес рецензировал его в 1939 г. в журнале «Очаг». Кроме того, она многим обязана разговорам с Шуль-Соларом и знакомству с его библиотекой, «одной из лучших среди всех мною виданных», по свидетельству Борхеса. *(Прим. Б. Дубин)*

[7] Примечания: 7

Открытием Укбара… — По соображениям новейших комментаторов (Николас Хелфт), на это «открытие» Борхеса натолкнула статья «Ур» (город в Вавилоне), впервые появившаяся именно в одиннадцатом издании «Британской энциклопедии», которое Борхес в 1929 г. купил себе на литературную премию. *(Прим. Б. Дубин)*

[8] Примечания: 8

Адольфо Бьой Касарес (1914–1999) — аргентинский прозаик, друг и соавтор Борхеса (они познакомились в 1930 г. и, кроме книги «Шесть задач для дона Исидро Пароди», написали вместе сборник пародийных рецензий «Хроники Бустоса Домека», 1957, составили антологии «Лучшие детективные рассказы», 1943; «Краткие и необычайные истории», 1955; «Книга рая и ада», 1960). Борхес внимательно рецензировал книги Бьоя 1930-х гг. и сопроводил предисловием его «Изобретение Мореля» (1940), первый фантастический роман Латинской Америки. *(Прим. Б. Дубин)*

о каких-то событиях умалчивал бы или искажал бы их и впадал во всяческие противоречия, которые позволили бы некоторым — очень немногим — читателям угадать жестокую или банальную подоплеку. Из дальнего конца коридора за нами наблюдало зеркало. Мы обнаружили (поздней ночью подобные открытия неизбежны), что в зеркалах есть что-то жуткое. Тогда Бьой Касарес вспомнил, что один из ересиархов Укбара заявил: зеркала и совокупление отвратительны[9], ибо умножают количество людей. Я спросил об источнике этого достопамятного изречения, и он ответил, что оно напечатано в «The Anglo-American Cyclopaedia», в статье об Укбаре. В нашем доме (который мы сняли с меблировкой) был экземпляр этого издания. На последних страницах тома XXVI мы нашли статью об Упсале; на первых страницах тома XXVII — статью об урало-алтайских языках, но ни единого слова об Укбаре. Бьой, слегка смущенный, взял тома указателя. Напрасно подбирал он все мыслимые транскрипции: Укбар, Угбар, Оокбар, Оукбар… Перед уходом он мне сказал, что это какая-то

[9] Примечания: 9

…зеркала и совокупление отвратительны… — автоцитата из новеллы «Хаким из Мерва», мнимо приписанная другому лицу (опять-таки мнимому). *(Прим. Б. Дубин)*

область в Ираке или в Малой Азии. Признаюсь, я кивнул утвердительно, с чувством некоторой неловкости. Мне подумалось, что эта нигде не значащаяся страна и этот безымянный ересиарх были импровизированной выдумкой, которою Бьой из скромности хотел оправдать свою фразу. Бесплодное разглядывание одного из атласов Юстуса Пертеса[10] укрепило мои подозрения.

На другой день Бьой позвонил мне из Буэнос-Айреса. Он сказал, что у него перед глазами статья об Укбаре в XXVI томе энциклопедии. Имени ересиарха там нет, но есть изложение его учения, сформулированное почти в тех же словах, какими он его передал, хотя, возможно, с литературной точки зрения менее удачное. Он сказал: «Copulation and mirrors are abominable»[11]. Текст энциклопедии гласил: «Для одного из этих гностиков видимый мир был иллюзией или (что точнее) неким софизмом. Зеркала и деторождение ненавистны (mirrors and fatherhood are hateful), ибо умножают и распространяют суще-

---

[10] Примечания: 10

Иоганн Георг Юстус Пертес (1749–1816) — немецкий издатель, основавший фирму, которая специализировалась на выпуске гео– и картографической литературы. *(Прим. Б. Дубин)*

[11] Примечания: 11

Совокупление и зеркала — отвратительны *(англ.).*

ствующее». Я совершенно искренне сказал, что хотел бы увидеть эту статью. Через несколько дней Бьой ее принес. Это меня удивило — ведь в подробнейших картографических указателях «Erdkunde»[12] Риттера[13] не было и намека на название «Укбар».

Принесенный Бьоем том был действительно томом XXVI «Anglo-American Cyclopaedia». На суперобложке и на корешке порядковые слова были те же (Тор — Урс), что и в нашем экземпляре, но вместо 917 страниц было 921. На этих-то дополнительных четырех страницах и находилась статья об Укбаре, не предусмотренная (как читатель наверняка понял) словником. Впоследствии мы установили, что никаких других различий между томами нет. Оба (как я, кажется, уже говорил) — перепечатка десятого тома «Encyclopaedia Britannica». Свой экземпляр Бьой приобрел на аукционе.

Мы внимательно прочли статью. Упомянутая Бьоем фраза была, пожалуй, единственным, что там поражало. Все прочее казалось весьма до-

---

[12] Примечания: 12

«Землеведение» *(нем.)*.

[13] Примечания: 13

Карл Риттер (1779–1859) — немецкий географ, автор фундаментального труда «Землеведение» (19 т., 1822–1859). *(Прим. Б. Дубин)*

стоверным, было по стилю вполне в духе этого издания и (что естественно) скучновато. Перечитывая, мы обнаружили за этой строгостью слога существенную неопределенность. Из четырнадцати упомянутых в географической части названий мы отыскали только три — Хорасан, Армения, Эрзерум, — как-то двусмысленно включенные в текст. Из имен исторических — лишь одно: обманщика и мага Смердиса[14], приведенное скорее в смысле метафорическом. В статье как будто указывались границы Укбара, но опорные пункты назывались какие-то неизвестные — реки, да кратеры, да горные цепи этой же области. К примеру, мы прочитали, что на южной границе расположены низменность Цаи-Хальдун и дельта реки Акса и что на островах этой дельты водятся дикие лошади. Это значилось на странице 918. Из исторического раздела (страница 920) мы узнали, что вследствие религиозных преследований в тринадцатом веке правоверные скрывались на островах, где до сих пор сохра-

[14] Примечания: 14

Смердис (точнее, Лже-Смердис, или Лже-Бардия) — мидийский маг Гаумата, захвативший в 522 г. трон персидского царя Камбиза, воспользовавшись своим сходством с братом царя Смердисом, или Бардией, которого Камбиз тайно убил (Геродот, «История», III, 61–69), пал от руки заговорщиков. Иными словами, единственный «исторический» персонаж оказывается в новелле самозванцем и двойником. *(Прим. Б. Дубин)*

нились их обелиски и нередко попадаются их каменные зеркала. Раздел «Язык и литература» был короткий. Одно привлекало внимание: там говорилось, что литература Укбара имела фантастический характер и что тамошние эпопеи и легенды никогда не отражали действительности, но описывали воображаемые страны Млехнас и Тлён… В библиографии перечислялись четыре книги, которых мы до сих пор не отыскали, хотя третья из них — Сайлес Хейзлем[15], «History of the Land Called Uqbar»[16], 1874 — значится в каталогах книжной лавки Бернарда Куорича[17], [18]. Первая в списке «Lesbare und lesenwerthe Bemerkungen über das Land Ukkbar in Klein-Asien»[19] имеет дату 1641 год и написана Иоганном Валентином Андрее[20]. Факт, не лишенный интереса: несколько

---

[15] Примечания: 15

Хейзлем — ложному автору присвоена фамилия английских предков Борхеса со стороны отца. *«A General History of Labyrinths»* — в 1935 г. Борхес в журнале «Обра» опубликовал под названием «Лабиринты» и под псевдонимом Дэниэл Хейзлем рецензию на эту несуществующую книгу, она включала в себя пересказ статьи о лабиринтах из 11-го издания «Британской энциклопедии». *(Прим. Б. Дубин)*

[16] Примечания: 16

«История страны, именуемой Укбар» *(англ.)*.

[17] Примечания: 17

Хейзлем также опубликовал «A General History of Labyrinths» («Всеобщая история лабиринтов» *(англ.)*).

[18] Примечания: 18

Бернард Куорич (1819–1899) — лондонский издатель и книготорговец.

Упоминание его Борхесом, может быть, мотивировано тем, что через его лавку распространялся «Рубайят» Хайяма в переводе Э. Фитцджеральда, с которым Куорич много лет переписывался (письма изданы в 1926 г.). *(Прим. Б. Дубин)*

[19] Примечания: 19

«Приятные и достойные прочтения сведения о стране Укбар в Малой Азии» *(нем.)*.

[20] Примечания: 20

Иоганн Валентин Андрее (1586–1654) — немецкий оккультный мыслитель, создатель своеобразного мифа о Братстве Розы и Креста, автор религиозных мистерий и утопий «Откровение братства высокочтимого ордена розенкрейцеров» (1614), «Химическое бракосочетание Христиана Розенкрейца» (1616), «Христианская мифология» (1618), «Крепость Христа, или Описание республики Христианополь» (1619) и др.; упоминается у Де Куинси в эссе «Розенкрейцеры и франкмасоны». *(Прим. Б. Дубин)*

лет спустя я неожиданно встретил это имя у Де Куинси («Writings»[21], том тринадцатый) и узнал, что оно принадлежит немецкому богослову, который в начале XVII века описал вымышленную общину розенкрейцеров — впоследствии основанную другими по образцу, созданному его воображением.

В тот же вечер мы отправились в Национальную библиотеку. Тщетно ворошили атласы, каталоги, ежегодники географических обществ, мемуары путешественников и историков — никто никогда не бывал в Укбаре. В общем указателе энциклопедии Бьоя это название также не фигурировало. На следующий день Карлос Мастронарди[22] (которому я рассказал об этой истории) приметил в книжной лавке Корриентеса и Талькауано черные, позолоченные корешки «Anglo-American Cyclopaedia»... Он зашел в лавку и спросил том XXVI. Разумеется, там не было и намека на Укбар.

---

[21] Примечания: 21

Сочинения *(англ.).*

[22] Примечания: 22

Карлос Мастронарди (1901–1976) — аргентинский поэт и журналист, соратник Борхеса по временам буэнос-айресского авангарда 1920-х гг. В 1986-м, последнем году жизни, Борхес среди друзей юности вспомнил и Мастронарди (заметка «Вспоминая Карлоса Мастронарди» в газете «Паис», февраль 1986 г.). *(Прим. Б. Дубин)*

II

Какое-то слабое, все более угасающее воспоминание о Герберте Эше[23], инженере, служившем на Южной железной дороге, еще сохраняется в гостинице в Адроге́, среди буйной жимолости и в мнимой глубине зеркал. При жизни он, как многие англичане, вел существование почти призрачное; после смерти он уже не призрак даже, которым был раньше. А был он высок, худощав, с редкой прямоугольной, когда-то рыжей бородой и, как я понимаю, бездетный вдовец. Через каждые несколько лет ездил в Англию поглядеть там (сужу по фотографиям, которые он нам показывал) на солнечные часы и группу дубов. Мой отец с ним подружился (это, пожалуй, слишком сильно сказано), и дружба у них была вполне английская — из тех, что начинаются с отказа от доверительных признаний, а вскоре обходятся и без диалога. Они обменивались книгами и газетами, часто сражались в шахматы,

---

[23] Примечания: 23

…о Герберте Эше… — Не исключено, что это скрытая отсылка к американскому китаисту, исследователю философии Чжуан-цзы Герберту Аллану Джайлсу, чьи идеи относительно китайского языка и мышления присутствуют в описании языка Тлёна; книги Джайлса публиковал опять-таки Бернард Куорич (см. выше). *(Прим. Б. Дубин)*

но молча… Я вспоминаю его в коридоре отеля, с математической книгой в руке, глядящим на неповторимые краски неба. Как-то под вечер мы заговорили о двенадцатеричной системе счисления[24] (в которой двенадцать обозначается через 10). Эш сказал, что он как раз работает над перерасчетом каких-то двенадцатеричных таблиц в шестидесятеричные (в которых шестьдесят обозначается через 10). Он прибавил, что работу эту ему заказал один норвежец в Риу-Гранди-ду-Сул. Восемь лет были мы знакомы, и он ни разу не упомянул, что бывал в тех местах… Мы поговорили о пастушеской жизни, о «капангах»[25], о бразильской этимологии слова «гаучо», которое иные старики на востоке еще произносят «гаýчо», и — да простит меня Бог! — о двенадцатеричных функциях не было больше ни слова. В сентябре 1937 года (нас тогда в отеле не было) Герберт Эш скончался от разрыва аневризмы. За несколько дней до смерти он получил из Бразилии запечатанный и проштемпелеванный пакет. Это

[24] Примечания: 24

…о двенадцатеричной системе счисления… — В 1939 г. Борхес рецензировал в журнале «Юг» книгу Джорджа С. Терри «Двенадцатеричная математика», где — отчасти в шутку — ссылался на давние аналогичные идеи своего друга Шуль-Солара. *(Прим. Б. Дубин)*

[25] Примечания: 25

Бандиты *(порт.)*.

была книга ин-октаво. Эш оставил ее в баре, где — много месяцев спустя — я ее обнаружил. Я стал ее перелистывать и вдруг почувствовал легкое головокружение — свое изумление я не стану описывать, ибо речь идет не о моих чувствах, а об Укбаре и Тлёне и Орбис Терциус. Как учит ислам, в некую ночь, которая зовется Ночь Ночей, распахиваются настежь тайные врата небес и вода в кувшинах становится слаще; доведись мне увидеть эти распахнутые врата, я бы не почувствовал того, что почувствовал в этот вечер. Книга была на английском, 1001 страница. На желтом кожаном корешке я прочел любопытную надпись, которая повторялась на суперобложке: «A First Encyclopaedia of Tlön, vol. XI. Hlaer to Jangr»[26]. Год и место издания не указаны. На первой странице и на листке папиросной бумаги, прикрывавшем одну из цветных таблиц, напечатан голубой овал со следующей надписью: «Orbis Tertius». Прошло уже два года с тех пор, как в томе некой пиратски изданной энциклопедии я обнаружил краткое описание вымышленной страны, — ныне случай подарил мне нечто более ценное и трудоемкое. Ныне я держал в руках обширный, методически

[26] Примечания: 26
«Первая энциклопедия Тлёна. Том XI. Хлаер — Джангр» *(англ.).*

составленный раздел со всей историей целой неведомой планеты, с ее архитектурой и распрями, со страхами ее мифологии и звуками ее языков, с ее властителями и морями, с ее минералами и птицами и рыбами, с ее алгеброй и огнем, с ее богословскими и метафизическими контроверсиями. Все изложено четко, связно, без тени намерения поучать или пародийности.

В Одиннадцатом Томе, о котором я рассказываю, есть отсылка к предыдущим и последующим томам. Нестор Ибарра в статье в «N. R. F.», ставшей уже классической, отрицает существование этих других томов; Эсекиель Мартинес Эстрада[27] и Дриё ла Рошель[28] опровергли — и, вероятно, с полным успехом — его сомнения. Однако факт, что покамест самые усердные розыски ничего не дают. Напрасно мы перевернули библиотеки обеих Америк и Европы. Альфонсо Рейес, устав

---

[27] Примечания: 27

Эсекиель Мартинес Эстрада (1895–1970) — аргентинский поэт и эссеист, автор ряда социологических очерков о Латинской Америке. Борхес рецензировал в 1933 г. его эссе «Радиография пампы», представил его лирику в своей «Антологии аргентинской поэзии», а на склоне лет включил книгу его избранных стихов в свою «Личную библиотеку». В середине 1950-х гг. Мартинес Эстрада выступал леворадикальным оппонентом Борхеса. *(Прим. Б. Дубин)*

[28] Примечания: 28

Пьер Дриё ла Рошель (1893–1945) — французский писатель, один из первооткрывателей Борхеса в Европе, входил в редакционный совет журнала «Юг». *(Прим. Б. Дубин)*

от этих дополнительных трудов детективного свойства, предлагает всем нам сообща приняться за дело воссоздания многих недостающих пухлых томов: ex ungue leonem[29]. Полушутя-полусерьезно он подсчитал, что тут хватит одного поколения «тлёнистов». Этот смелый вывод возвращает нас к основному вопросу: кто изобретатели Тлёна? Множественное число здесь необходимо, потому что гипотеза об одном изобретателе — этаком бесконечном Лейбнице, трудившемся во мраке неизвестности и скромности, — была единодушно отвергнута. Вероятней всего, этот brave new world[30], [31] — создание тайного общества астрономов, биологов, инженеров, метафизиков, поэтов, химиков, алгебраистов, моралистов, художников, геометров… руководимых неизвестным гением. Людей, сведущих в этих различных науках, есть множество, однако мало есть способных к вымыслу и еще меньше способных подчинить вымысел строгому систематическому

[29] Примечания: 29

По когтю ‹воссоздать› льва *(лат.).*

[30] Примечания: 30

Прекрасный новый мир *(англ.).*

[31] Примечания: 31

«Brave New World» (1932) — антиутопический роман Олдоса Хаксли; его заглавие — цитата из шекспировской «Бури» (V, 1). *(Прим. Б. Дубин)*

плану. План этот так обширен, что доля участия каждого бесконечно мала. Вначале полагали, будто Тлён — это сплошной хаос, безответственный разгул воображения; теперь известно, что это целый мир и что сформулированы, хотя бы предварительно, управляющие им внутренние законы. Кажущиеся противоречия Одиннадцатого Тома — это, могу уверить, краеугольный камень доказательства существования и других томов — такая явная, четкая упорядоченность соблюдена в его изложении. Популярные журналы, с извинительным для них увлечением, сделали общим достоянием зоологию и топографию Тлёна — думаю, что прозрачные тигры и кровавые башни, пожалуй, не заслуживают постоянного внимания всех людей. Попрошу лишь несколько минут, чтобы изложить концепцию мира в Тлёне.

Юм заметил — и это непреложно, — что аргументы Беркли не допускают и тени возражения и не внушают и тени убежденности. Это суждение целиком истинно применительно к нашей Земле и целиком ложно применительно к Тлёну. Народы той планеты от природы идеалисты. Их язык и производные от языка — религия, литература, метафизика — предполагают исходный

идеализм. Мир для них — не собрание предметов в пространстве, но пестрый ряд отдельных поступков. Для него характерна временна́я, а не пространственная последовательность. В предполагаемом Ursprache[32] Тлёна, от которого происходят «современные» языки и диалекты, нет существительных, в нем есть безличные глаголы с определениями в виде односложных суффиксов (или префиксов) с адвербиальным значением. Например: нет слова, соответствующего слову «луна», но есть глагол, который можно было бы перевести «лунить» или «лунарить». «Луна поднялась над рекой» звучит «хлёр у фанг аксаксаксас млё», или, переводя слово за словом, «вверх над постоянным течь залунело».

Вышесказанное относится к языкам Южного полушария. В языках полушария Северного (о праязыке которых в Одиннадцатом Томе данных очень мало) первичной клеткой является не глагол, а односложное прилагательное. Существительное образуется путем накопления прилагательных. Не говорят «луна», но «воздушное-светлое на темном-круглом» или «нежном-оранжевом» вместо «неба» или берут

[32] Примечания: 32
Праязык *(нем.)*.

любое другое сочетание. В избранном нами примере сочетания прилагательных соответствуют реальному объекту — но это совершенно не обязательно. В литературе данного полушария (как в реальности Мейнонга) царят предметы идеальные, возникающие и исчезающие в единый миг по требованию поэтического замысла. Иногда их определяет только одновременность. Есть предметы, состоящие из двух качеств — видимого и слышимого: цвет восхода и отдаленный крик птицы. Есть состоящие из многих: солнце и вода против груди пловца; смутное розовое свечение за закрытыми веками, ощущения человека, отдающегося течению реки или объятиям сна. Эти объекты второй степени могут сочетаться с другими; с помощью некоторых аббревиатур весь процесс практически может быть бесконечен. Существуют знаменитые поэмы из одного огромнейшего слова. В этом слове интегрирован созданный автором «поэтический объект». Тот факт, что никто не верит в реальность существительных, парадоксальным образом приводит к тому, что их число бесконечно. В языках Северного полушария Тлёна есть все имена существительные индоевропейских языков — и еще много сверх того.

Можно без преувеличения сказать, что классическая культура Тлёна состоит всего лишь из одной дисциплины — психологии. Все прочие ей подчинены. Я уже говорил, что обитатели этой планеты понимают мир как ряд ментальных процессов, развертывающихся не в пространстве, а во временно́й последовательности. Спиноза приписывает своему беспредельному божеству атрибуты протяженности и мышления; в Тлёне никто бы не понял противопоставления первого (характерного лишь для некоторых состояний) и второго — являющегося идеальным синонимом космоса. Иначе говоря: они не допускают, что нечто пространственное может длиться во времени. Зрительное восприятие дыма на горизонте, а затем выгоревшего поля, а затем полупогасшей сигары, причинившей ожог, рассматривается как пример ассоциации идей.

Этот тотальный монизм, или идеализм, делает всякую науку неполноценной. Чтобы объяснить (или определить) некий факт, надо связать его с другим; такая связь, по воззрениям жителей Тлёна, является последующим состоянием объекта, которое не может изменить или пояснить состояние предшествующее. Всякое состояние ума ни к чему не сводимо: даже простой факт на-

зывания — id est[33] классификации — приводит к искажению. Отсюда можно было бы заключить, что в Тлёне невозможны науки и даже просто рассуждение. Парадокс заключается в том, что науки существуют, и в бесчисленном количестве. С философскими учениями происходит то же, что с существительными в Северном полушарии. Тот факт, что всякая философия — это заведомо диалектическая игра, некая Philosophie des Als Ob[34], [35], способствовал умножению систем. Там создана пропасть систем самых невероятных, но с изящным построением или сенсационным характером. Метафизики Тлёна не стремятся к истине, ни даже к правдоподобию — они ищут поражающего. По их мнению, метафизика — это ветвь фантастической литературы. Они знают, что всякая система есть не что иное, как подчинение всех аспектов мироздания какому-либо одному.

---

[33] Примечания: 33
То есть *(лат.).*

[34] Примечания: 34
Философия как если бы *(нем.).*

[35] Примечания: 35
«Philosophie des Als Ob» (1877) — центральный труд немецкого философа-кантианца Ханса Файхингера, где анализируется условный характер научных понятий и обыденных представлений о реальности. *(Прим. Б. Дубин)*

Даже выражение «все аспекты» не годится, ибо предполагает невозможное сочетание мига настоящего и мигов прошедших. Также недопустимо и множественное число — «миги прошедшие», — ибо этим как бы предполагается невозможность иного представления… Одна из философских школ Тлёна пришла к отрицанию времени: по ее рассуждению, настоящее неопределенно, будущее же реально лишь как мысль о нем в настоящем[36]. Другая школа заявляет, что уже «все время» прошло и наша жизнь — это туманное воспоминание или отражение — конечно, искаженное и изувеченное — необратимого процесса. Еще одна школа находит, что история мира — а в ней история наших жизней и мельчайших подробностей наших жизней — записывается неким второстепенным богом в сговоре с демоном. Еще одна — что мир можно сравнить с теми криптограммами, в которых не все знаки наделены значением, и истинно только то, что происходит через каждые триста ночей. Еще одна — что, пока мы спим здесь, мы бодр-

[36] Примечания: 36

Рассел («The Analysis of Mind» ‹«Анализ мышления» *(англ.)*›, 1921, с. 159) предполагает, что наша планета создана всего несколько минут назад и населена жителями, которые лишь «вспоминают» иллюзорное прошлое.

ствуем в ином мире, и, таким образом, каждый человек — это два человека.

Среди учений Тлёна ни одно не вызывало такого шума, как материализм. Некоторые мыслители сформулировали и его — скорее пылко, чем ясно, — в порядке некоего парадокса. Чтобы легче было понять сие непостижимое воззрение, один ересиарх одиннадцатого века[37] придумал софизм с девятью медными монетами, скандальная слава которого в Тлёне сравнима с репутацией элеатских апорий. Есть много версий этого «блестящего рассуждения», в которых указываются различные количества монет и нахождений; привожу самую распространенную.

«Во вторник X проходит по пустынной дороге и теряет девять медных монет. В четверг Y находит на дороге четыре монеты, слегка заржавевшие из-за случившегося в среду дождя. В пятницу Z обнаруживает на дороге три монеты. В ту же пятницу утром X находит две монеты в коридоре своего дома». Ересиарх хотел из этой истории сделать вывод о реальности — id est непрерывности бытия — девяти найденных монет. Он утверждал: «Абсурдно было бы думать, будто четыре из

[37] Примечания: 37

В двенадцатеричной системе «век» — это период в сто сорок четыре года.

этих монет не существовали между вторником и четвергом, три монеты — между вторником и вечером пятницы и две — между вторником и утром пятницы. Логично же думать, что они существовали — хотя бы каким-то потаенным образом, для человека непостижимым, — во все моменты этих трех отрезков времени».

Язык Тлёна был непригоден для формулирования этого парадокса — большинство так и не поняло его. Защитники здравого смысла сперва ограничились тем, что отказались верить в правдоподобие анекдота. Они твердили, что это-де словесное жульничество, основанное на необычном употреблении двух неологизмов, не закрепленных обычаем и чуждых строгому логическому рассуждению, а именно глаголов «находить» и «терять», заключающих в себе предвосхищение основания, ибо они предполагают тождество первых девяти монет и последующих. Они напоминали, что всякое существительное (человек, монета, четверг, среда, дождь) имеет только метафорическое значение. Изобличалось коварное описание «слегка заржавевшие из-за случившегося в среду дождя», где предполагается то, что надо доказать: непрерывность существования четырех монет между вторни-

ком и четвергом. Объяснялось, что одно дело «подобие» и другое — «тождество», и было сформулировано некое reductio ad absurdum[38], или гипотетический случай, когда девять человек девять ночей подряд испытывают сильную боль. Разве не нелепо, спрашивали, предполагать, что эта боль всегда одна и та же?[39] Говорили, что у ересиарха была лишь одна побудительная причина — кощунственное намерение приписать божественную категорию «бытия» обычным монетам — и что он то отрицает множественность, то признает ее. Приводился аргумент: если подобие предполагает тождество, следовало бы также допустить, что девять монет — это одна-единственная монета.

Невероятным образом эти опровержения были еще не последними. Через сто лет после того, как проблема была сформулирована, мыслитель, не менее блестящий, чем ересиарх, но принадлежавший к ортодоксальной традиции, высказал

---

[38] Примечания: 38

Сведение к абсурду *(лат.)*.

[39] Примечания: 39

В настоящее время одна из церквей Тлёна платонически утверждает, что данная боль, данный зеленоватый оттенок желтого, данная температура, данный звук суть единственная реальность. Все люди в головокружительный миг совокупления суть один человек. Все люди, повторяющие некую строку Шекспира, суть Уильям Шекспир.

чрезвычайно смелую гипотезу. В его удачном предположении утверждается, что существует один-единственный субъект, что неделимый этот субъект есть каждое из существ вселенной и что все они суть органы или маски божества. X есть Y и Z. Z находит три монеты, так как вспоминает, что они потерялись у X; X обнаруживает две монеты в коридоре, так как вспоминает, что остальные уже подобраны… Из Одиннадцатого Тома явствует, что полная победа этого идеалистического пантеизма была обусловлена тремя основными факторами: первый — отвращение к солипсизму; второй — возможность сохранить психологию как основу наук; третий — возможность сохранить культ богов. Шопенгауэр (страстный и кристально ясный Шопенгауэр) формулирует весьма близкое учение в первом томе «Parerga und Paralipomena»[40].

Геометрия Тлёна состоит из двух слегка различающихся дисциплин: зрительной и осязательной. Последняя соответствует нашей геометрии и считается подчиненной по отношению к первой. Основа зрительной геометрии — не точка, а поверхность. Эта геометрия не знает

---

[40] Примечания: 40
«Афоризмы и максимы» *(греч., нем.).*

параллельных линий и заявляет, что человек, перемещаясь, изменяет окружающие его формы. Основой арифметики Тлёна является понятие бесконечных чисел. Особая важность придается понятиям большего и меньшего, которые нашими математиками обозначаются с помощью > и <. Математики Тлёна утверждают, что сам процесс счета изменяет количество и превращает его из неопределенного в определенное. Тот факт, что несколько индивидуумов, подсчитывая одно и то же количество, приходят к одинаковому результату, представляет для психологов пример ассоциации идей или хорошего упражнения памяти. Мы уже знаем, что в Тлёне объект познания единствен и вечен.

В литературных обычаях также царит идея единственного объекта. Автор редко указывается. Нет понятия «плагиат»: само собой разумеется, что все произведения суть произведения одного автора, вневременного и анонимного. Критика иногда выдумывает авторов: выбираются два различных произведения — к примеру, «Дао дэ цзин» и «Тысяча и одна ночь», — приписывают их одному автору, а затем добросовестно определяют психологию этого любопытного homme

de lettres…[41]

Отличаются от наших также их книги. Беллетристика разрабатывает один-единственный сюжет со всеми мыслимыми перестановками. Книги философского характера неизменно содержат тезис и антитезис, строго соблюдаемые «про» и «контра» любого учения. Книга, в которой нет ее антикниги, считается незавершенной.

Многие века идеализма не преминули повлиять на реальность. В самых древних областях Тлёна нередки случаи удвоения потерянных предметов. Два человека ищут карандаш; первый находит и ничего не говорит; второй находит другой карандаш, не менее реальный, но более соответствующий его ожиданиям. Эти вторичные предметы называются «хрёнир», и они, хотя несколько менее изящны, зато более удобны. Еще до недавних пор «хрёниры» были случайными порождениями рассеянности и забывчивости. Трудно поверить, что методическое их создание насчитывает едва ли сто лет, но так утверждается в Одиннадцатом Томе. Первые попытки были безрезультатны. Однако modus operandi[42]

---

[41] Примечания: 41
Литератор *(фр.).*

[42] Примечания: 42
Способ действий *(лат.).*

заслуживает упоминания. Комендант одной из государственных тюрем сообщил узникам, что в старом русле реки имеются древние захоронения, и посулил свободу тем, кто найдет что-нибудь стоящее. За несколько месяцев до начала раскопок их познакомили с фотоснимками того, что они должны найти. Эта первая попытка показала, что надежда и жадность могут помешать: после недели работы лопатой и киркой не удалось откопать никакого «хрёна», кроме ржавого колеса, из эпохи более поздней, чем время эксперимента. Эксперимент держали в секрете, а затем повторили в четырех колледжах. В трех была полная неудача, в четвертом же (директор которого внезапно скончался в самом начале раскопок) ученики откопали — или создали — золотую маску, древний меч, две или три глиняные амфоры и зеленоватый, увечный торс царя с надписью на груди, которую расшифровать не удалось. Так обнаружилась непригодность свидетелей, знающих про экспериментальный характер поисков… Изыскания в массовом масштабе производят предметы с противоречивыми свойствами; предпочтение ныне отдается раскопкам индивидуальным, даже импровизированным. Методическая разработка «хрёниров» (сказано

в Одиннадцатом Томе) сослужила археологам неоценимую службу: она позволила скрашивать и даже изменять прошлое, которое теперь не менее пластично и послушно, чем будущее. Любопытный факт: в «хрёнирах» второй и третьей степени — то есть «хрёнирах», производных от другого «хрёна», и «хрёнирах», производных от «хрёна» «хрёна», — отмечается усиление искажений исходного «хрёна»; «хрёниры» пятой степени почти подобны ему; «хрёниры» девятой степени можно спутать со второй; а в «хрёнирах» одиннадцатой степени наблюдается чистота линий, которой нет у оригиналов. Процесс тут периодический: в «хрёне» двенадцатой степени уже начинается ухудшение. Более удивителен и чист по форме, чем любой «хрён», иногда бывает «ур» — предмет, произведенный внушением, объект, извлеченный из небытия надеждой. Великолепная золотая маска, о которой я говорил, — яркий тому пример.

Вещи в Тлёне удваиваются, но у них также есть тенденция меркнуть и утрачивать детали, когда люди про них забывают. Классический пример — порог, существовавший, пока на него ступал некий нищий, и исчезнувший из виду, когда тот умер. Случалось, какие-нибудь птицы или лошадь спасали от исчезновения развалины амфитеатра.

Сальто-Ориенталь, 1940

Постскриптум 1947 года[43]. Я привожу вышеизложенную статью в том виде, в каком она была напечатана в «Антологии фантастической литературы» в 1940 году, без сокращений, кроме нескольких метафор и своего рода шуточного заключения, которое теперь звучит легкомысленно. Столько событий произошло с того времени!.. Ограничусь кратким их перечнем.

В марте 1941-го в книге Хинтона, принадлежавшей Герберту Эшу, было обнаружено написанное от руки письмо Гуннара Эрфьорда. На конверте

---

[43] Примечания: 43

Постскриптум 1947 года. — На самом деле в журнале «Юг» и «Антологии фантастической литературы» рассказ вместе с этим постскриптумом напечатан уже в 1940 г. Прием вводит еще одну рамку — барьер условности — вокруг нескольких составляющих новеллу «текстов в тексте». *(Прим. Б. Дубин)*

стоял почтовый штемпель Оуро-Прето[44]; в письме полностью разъяснялась тайна Тлёна. Начало этой блестящей истории было положено в некий вечер первой половины XVII века — не то в Люцерне, не то в Лондоне. Было основано тайное и благорасположенное общество (среди членов которого был Дальгарно[45], а затем Джордж Беркли) с целью выдумать страну. В туманной первоначальной программе фигурировали «герметические штудии», благотворительность и каббала. К этому раннему периоду относится любопытная книга Андрее. После нескольких лет совещаний и предварительных обобщений члены общества поняли, что для воспроизведения целой страны не хватит одного поколения. Они решили, что каждый из входящих в общество должен избрать себе ученика для продолжения дела. Такая «наследственная» система оказалась эффективной: после двух веков гонений братство возродилось в Америке. В 1824 году в Мемфисе (штат Теннесси) один из участников заводит

---

[44] Примечания: 44

Оуро-Прето — городок на юго-востоке Бразилии. *(Прим. Б. Дубин)*

[45] Примечания: 45

Джордж Дальгарно (1626–1687) — английский (шотландский) мыслитель и педагог, в книге «Искусство знаков» (1661) предложивший проект универсального языка, которым, в частности, интересовался Лейбниц. *(Прим. Б. Дубин)*

разговор с миллионером-аскетом Эзрой Бакли. Тот с некоторым презрением дает ему высказаться — и высмеивает скромность их плана. Бакли говорит, что в Америке нелепо выдумывать страну, и предложил выдумать планету. К этой грандиозной идее он прибавил вторую, плод своего нигилизма[46]: обязательно хранить гигантский замысел в тайне. В то время как раз были выпущены двадцать томов «Encyclopaedia Britannica»; Бакли предлагает создать методическую энциклопедию вымышленной планеты. Пусть себе описывают сколько хотят золотоносные горные хребты, судоходные реки, луга с быками и бизонами, тамошних негров, публичные дома и доллары, но с одним условием: «Это произведение не вступит в союз с обманщиком Иисусом Христом». Бакли не верил в Бога, но хотел доказать несуществующему Богу, что смертные люди способны создать целый мир. Бакли умер от яда в Батон-Руж в 1828 году; в 1914 году общество вручает своим сотрудникам — а их было триста — последний том Первой энциклопедии Тлёна. Издание это тайное: составляющие его сорок томов (самое грандиозное сочинение,

[46] Примечания: 46
Бакли был вольнодумец, фаталист и поборник рабства.

когда-либо затеянное людьми) должны были послужить основой для другого, более подробного, написанного уже не на английском языке, но на одном из языков Тлёна. Этот обзор иллюзорного мира предварительно и был назван Orbis Tertius, и одним из его скромных демиургов был Герберт Эш — то ли как агент Гуннара Эрфьорда, то ли как член общества. То, что он получил экземпляр Одиннадцатого Тома, как будто подкрепляет второе предположение. Ну а другие тома? В 1942 году события разыгрались одно за другим. С особенной четкостью вспоминается мне одно из первых, и, по-моему, я отчасти почувствовал его пророческий характер. Произошло оно в особняке на улице Лаприда напротив светлого, высокого, выходившего на запад балкона. Княгиня де Фосиньи Люсенж[47] получила из Пуатье свою серебряную посуду. Из обширных недр ящика, испещренного иностранными печатями, появлялись изящные неподвижные вещи: серебро из Утрехта и Парижа с угловатой геральдической фауной, самовар. Среди всего этого живой, мелкой дрожью спящей птицы таинственно трепетал компас. Княгиня не признала его своим. Синяя стрелка устремлялась

[47] Примечания: 47

Княгиня де Фосиньи Люсенж — аргентинка, светская знакомая Борхеса; упомянута в новелле «Бессмертный». *(Прим. Б. Дубин)*

к магнитному полюсу, металлический корпус был выпуклый, буквы на его округлости соответствовали одному из алфавитов Тлёна. Таково было первое вторжение фантастического мира в мир реальный. Странно-тревожное совпадение сделало меня свидетелем и второго случая. Он произошел несколько месяцев спустя в харчевне одного бразильца в Кучилья-Негра. Аморим и я возвращались из Санта-Аны. Разлив реки Такуарембо вынудил нас испытать (и вытерпеть) тамошнее примитивное гостеприимство. Хозяин поставил для нас скрипучие кровати в большой комнате, загроможденной бочками и винными мехами. Мы улеглись, но до самого рассвета не давал нам уснуть пьяный сосед за стенкой, который то долго и вычурно ругался, то, завывая, распевал милонги — вернее, одну милонгу. Мы, естественно, приписывали эти нестихавшие вопли действию жгучей тростниковой водки нашего хозяина… На заре соседа нашли в коридоре мертвым. Его хриплый голос ввел нас в заблуждение — то был молодой парень. Из пояса пьяницы выпало несколько монет и конус из блестящего металла диаметром в игральную кость.

Напрасно какой-то мальчуган пытался подобрать этот конус. Его с трудом поднял взрослый

мужчина. Я несколько минут подержал его на ладони; вспоминаю, что тяжесть была невыносимая, и, когда конус забрали, ощущение ее еще длилось какое-то время. Вспоминаю также четко очерченный кружок — след, оставшийся на ладони. Маленький предмет такой невероятной тяжести вызывал неприятное чувство отвращения и страха. Один из местных предложил бросить его в их быструю реку. За несколько песо Аморим его приобрел. О мертвом никто ничего не знал, кроме того, что он «с границ». Эти маленькие, тяжеленные конусы (из металла, на Земле неизвестного) являются символами божества в некоторых религиях Тлёна.

Здесь я заканчиваю лично меня касающуюся часть повествования. Остальное живет в памяти (если не в надеждах или страхах) всех моих читателей. Достаточно лишь напомнить или назвать следующие факты — в самых кратких словах, которые емкая всеобщая память может дополнить и развить. В 1944 году некто, изучавший газету «The American» (Нэшвилл, штат Теннесси), обнаружил в библиотеке Мемфиса все сорок томов Первой энциклопедии Тлёна. До нынешнего дня продолжается спор, было ли то открытие случайное или же с соизволения правителей

все еще туманного Orbis Tertius. Правдоподобнее второе. Некоторые невероятные утверждения Одиннадцатого Тома (например, размножение «хрёниров») в мемфисском экземпляре опущены или смягчены, можно предположить, что эти исправления внесены согласно с планом изобразить мир, который бы не был слишком уж несовместим с миром реальным. Рассеивание предметов из Тлёна по разным странам, видимо, должно было завершить этот план...[48] Факт, что мировая печать подняла невероятный шум вокруг «находки». Учебники, антологии, краткие изложения, точные переводы, авторизованные и пиратские перепечатки Величайшего Произведения Людей наводнили и продолжают наводнять земной шар. Почти сразу же реальность стала уступать в разных пунктах. Правда, она жаждала уступить. Десять лет тому назад достаточно было любого симметричного построения с видимостью порядка — диалектического материализма, антисемитизма, нацизма, — чтобы заворожить людей. Как же не поддаться обаянию Тлёна, подробной и очевидной картине упорядоченной планеты? Бесполезно возражать, что ведь ре-

[48] Примечания: 48

Естественно, остается проблема «материальности» некоторых объектов.

альность тоже упорядочена. Да, возможно, но упорядочена-то она согласно законам божественным — даю перевод: законам бесчеловечным, которые нам никогда не постигнуть. Тлён — даже если это лабиринт, зато лабиринт, придуманный людьми, лабиринт, созданный для того, чтобы в нем разбирались люди.

Контакты с Тлёном и привычка к нему разложили наш мир. Очарованное стройностью, человечество все больше забывает, что это стройность замысла шахматистов, а не ангелов. Уже проник в школы «первоначальный язык» (гипотетический) Тлёна, уже преподавание гармоничной (и полной волнующих эпизодов) истории Тлёна заслонило ту историю, которая властвовала над моим детством; уже в памяти людей фиктивное прошлое вытесняет другое, о котором мы ничего с уверенностью не знаем — даже того, что оно лживо. Произошли перемены в нумизматике, в фармакологии и археологии. Думаю, что и биологию, и математику также ожидают превращения… Рассеянная по земному шару династия ученых-одиночек изменила лик Земли. Их дело продолжается. Если наши предсказания сбудутся, то лет через сто кто-нибудь обнаружит сто томов Второй энциклопедии Тлёна.

Тогда исчезнут с нашей планеты английский, и французский, и испанский языки. Мир станет Тлёном. Мне это все равно, в тихом убежище отеля в Адроге я занимаюсь обработкой переложения в духе Кеведо (печатать его я не собираюсь) «Urn Burial»[49] Брауна.

Перевод Е. Лысенко

[49] Примечания: 49
«Погребальная урна» *(англ.).*

Пьер Менар, автор «Дон Кихота»[50]

Сильвине Окампо[51]

Зримые произведения, оставленные этим романистом, можно легко и быстро перечислить. Непростительны поэтому пропуски и прибавления, сделанные мадам Анри Башелье в ее недостоверном каталоге, который некая газетка, чье «протестантское» направление отнюдь не секрет, легкомысленно рекомендовала своим жалким читателям — пусть их и немного и они кальвинисты, если не масоны или обрезанные. У истинных друзей Менара каталог этот вызвал тревогу и даже скорбь. Всего лишь вчера мы со-

---

[50] Примечания: 50

Замысел рассказа возник в больнице, где Борхес оказался в 1938 г. с заражением крови; пытаясь этими фантазиями мысленно собрать себя, писатель действительно стал возвращаться к жизни. С этой новеллы, построенной на идее письма как повторения, переписывания, началась новая, зрелая манера, которая воплотилась в книгах «Сад расходящихся тропок» (1941), «Вымышленные истории» (1944), «Алеф» (1949). *(Прим. Б. Дубин)*

[51] Примечания: 51

Сильвина Окампо (1903–1994) — аргентинская писательница, друг Борхеса, вместе (и в соавторстве с А. Бьоем Касаресом) они составили «Антологию фантастической литературы» и «Антологию аргентинской поэзии» (1941). В 1943 г. Борхес откликнулся в журнале «Юг» рецензией на книгу стихов Окампо «Перечень родины». *(Прим. Б. Дубин)*

бирались у могильного мрамора, среди траурных кипарисов, и вот уже Ошибка пытается очернить его Память… Нет, решительно необходимо написать краткое опровержение.

Я понимаю, что мой скудный авторитет совсем нетрудно оспорить. Надеюсь все же, что мне не запретят привести два высокочтимых свидетельства. Баронесса де Бакур (на чьих незабываемых пятницах я имел честь познакомиться с оплакиваемым нами поэтом) соизволила одобрить ниженаписанное. Графиня де Баньореджо, славившаяся среди самых утонченных умов княжества Монако (а ныне — Питсбурга, штат Пенсильвания, после недавнего брака с международным филантропом Симоном Каучем, — увы! — столь бесстыдно оклеветанным жертвами его бескорыстных операций), отказалась «ради истины и смерти» (таковы ее слова) от аристократической сдержанности, ее отличающей, и в открытом письме, опубликованном в журнале «Люкс», также выражает мне свое одобрение. Этих высоких рекомендаций, полагаю, достаточно. Я уже сказал, что «зримые» произведения Менара легко перечислить. Тщательно изучив его личный архив, я убедился, что он состоит из следующих материалов:

а) Символистский сонет, дважды печатавшийся (с вариантами) в журнале «Ла Конк»[52] (номера за март и октябрь 1899).

б) Монография о возможности создания поэтического словаря понятий, которые были бы не синонимами или перифразами слов, образующих обычный язык, «но идеальными объектами, созданными по взаимному согласию и предназначенными для сугубо поэтических нужд» (Ним, 1901).

в) Монография об «определенных связях или родстве» мыслей Декарта, Лейбница и Джона Уилкинса (Ним, 1903).

г) Монография о «Characteristica universalis»[53], [54] Лейбница (Ним, 1904).

---

[52] Примечания: 52

«Ла Конк» («Раковина») — литературный журнал, издававшийся поздним символистом, французским поэтом Пьером Луисом, здесь были напечатаны две редакции сонета Ст. Малларме «Веер», несколько ранних стихотворений П. Валери. *(Прим. Б. Дубин)*

[53] Примечания: 53

«Универсальная символика» *(лат.).*

[54] Примечания: 54

«Characteristica universalis» — так иногда называют диссертацию Лейбница «О комбинаторном искусстве» (1666) по центральному для нее понятию «универсальной символики». В его разработке Лейбниц следовал идеям Р. Луллия, Николая Кузанского, Дж. Бруно и др. *(Прим. Б. Дубин)*

д) Статья технического характера о возможности обогатить игру в шахматы, устранив одну из ладейных пешек. Менар предлагает, рекомендует, обсуждает и в конце концов отвергает это новшество.

е) Монография об «Ars magna generalis»[55] Раймунда Луллия (Ним, 1906).

ж) Перевод с введением и примечаниями «Книги свободного изобретения и искусства игры в шахматы» Руй Лопеса де Сегуры[56] (Париж, 1907).

з) Черновики монографии о символической логике Джорджа Буля.

и) Обзор основных метрических законов французской прозы, иллюстрированный примерами из Сен-Симона[57] («Ревю де ланг роман», Монпелье, октябрь 1909).

---

[55] Примечания: 55

«Великое искусство» *(лат.).*

[56] Примечания: 56

Руй Лопес де Сегура (XVI в.) — испанский теоретик шахматной игры. *(Прим. Б. Дубин)*

[57] Примечания: 57

Луи де Рувруа Сен-Симон (1675–1755) — французский придворный, автор блестящих «Мемуаров» (опубл. 1829–1831). *(Прим. Б. Дубин)*

к) Ответ Люку Дюртену[58] (отрицавшему наличие таких законов), иллюстрированный примерами из Люка Дюртена («Ревю де ланг роман», Монпелье, декабрь 1909).

л) Рукопись перевода «Компаса для культистского плавания» Кеведо, озаглавленная «La boussole des précieux»[59], [60].

м) Предисловие к каталогу выставки литографий Каролюса Уркада (Ним, 1914).

н) Книга «Les problèmes d'un problème»[61] (Париж, 1917), рассматривающая в хронологическом порядке решения знаменитой задачи об Ахиллесе и черепахе. На сегодняшний день существуют два издания этой книги — на втором в качестве эпиграфа стоит совет Лейбница: «Ne craignez point, monsieur, la tortue»[62], [63], и в нем несколько об-

---

[58] Примечания: 58

Люк Дюртен (наст. имя Андре Невё; 1881–1959) — французский писатель, публицист левой ориентации, автор записок о поездке в СССР. *(Прим. Б. Дубин)*

[59] Примечания: 59

«Компас жеманников» *(фр.)*.

[60] Примечания: 60

Précieux (*фр.* жеманники) — явление аристократического быта и салонных вкусов, сложившееся во Франции около середины XVII в. и отраженное в маньеристской поэзии В. Вуатюра, прециозных романах М. де Скюдери; над ним издевался Мольер («Смешные жеманницы», 1659). *(Прим. Б. Дубин)*

[61] Примечания: 61

«Проблемы одной задачи» *(фр.)*.

[62] Примечания: 62

Не надо бояться черепахи, сударь *(фр.).*

[63] Примечания: 63

«Ne craignez point, monsieur, la tortue» — из письма Лейбница французскому философу Симону Фуше (1644–1696). *(Прим. Б. Дубин)*

новлены главы, посвященные Расселу и Декарту.

о) Подробное исследование «синтаксических привычек» Туле[64] («N.R.F.», март 1921). Менар там — напоминаю — заявлял, что осуждение или похвала — это проявления сантиментов, не имеющие ничего общего с критикой.

п) Переложение александрийскими стихами «Cimetière marin»[65] Поля Валери («N. R. F.», январь 1928).

р) Инвектива против Поля Валери в «Страницах, уничтожающих действительность» Жака Ребуля[66]. (Эта инвектива, кстати сказать, представляет собою точно вывернутое наизнанку подлинное его мнение о Валери. Последний так это и понял, и старая дружба обоих не подверглась никакой опасности.)

с) «Определение» графини де Баньореджо в «победоносном томе» — выражение другого его участника, Габриэле Д'Аннунцио, — который

---

[64] Примечания: 64

Поль-Жан Туле (1867–1920) — французский поэт, автор книги «Анти-стихи», изданной посмертно (1921). *(Прим. Б. Дубин)*

[65] Примечания: 65

«Приморское кладбище» *(фр.)*.

[66] Примечания: 66

…Жака Ребуля. — Учитывая нимское происхождение заглавного героя, можно видеть в этой фамилии отсылку к французскому поэту и прозаику, коренному нимцу Жану Ребулю (1796–1864); на его стихи написаны романсы Р. Вагнера и С. Франка. *(Прим. Б. Дубин)*

ежегодно издает эта дама, дабы исправлять неизбежные ошибки прессы и представить «миру и Италии» правдивый свой образ, столь часто страдающий (именно по причине ее красоты и деятельности) от ошибочных или слишком поспешных суждений.

т) Цикл превосходных сонетов, обращенных к баронессе де Бакур (1934).

у) Написанные от руки стихи, эффект которых в пунктуации[67].

До сих пор речь шла (без каких-либо пропусков, кроме нескольких незначительных сонетов на случай — «гостеприимному» или «жадному» — из альбома мадам Анри Башелье) о «зримых» произведениях Менара в хронологическом порядке. Теперь перехожу к другим: к творчеству подспудному, безмерно героическому, несравненному. Но также — о жалкие возможности человеческие! — незавершенному. Это произведение — пожалуй, наиболее показательное для

---

[67] Примечания: 67

Мадам Анри Башелье упоминает также французский перевод с испанского перевода «Introduction à la vie dévote» ‹«Введение в благочестивую жизнь» *(фр.)*› святого Франциска Сальского, сделанного Кеведо. В библиотеке Пьера Менара нет и следа подобного произведения. Наверно, то просто была плохо расслышанная шутка нашего друга.

[*«Introduction à la vie dévote»* (1608) — трактат французского богослова Франциска Сальского, в переводе Кеведо опубликован в 1634 г. *(Прим. Б. Дубин)*]

нашего времени — состоит из девятой и тридцать восьмой глав первой части «Дон Кихота» и фрагмента главы двадцать второй. Знаю, что подобное утверждение может показаться нелепостью; дать пояснение этой «нелепости» и будет первейшей задачей моей заметки[68].

Замысел Менара возник под влиянием двух текстов неравного достоинства. Один из них — филологический фрагмент Новалиса[69] (тот, что значится за номером 2005 в дрезденском издании), где намечена тема «полного отождествления» с неким определенным автором. Другой текст — одна из тех паразитарных книг, которые помещают Христа на парижский бульвар, Гамлета на Каннебьер[70] или Дон Кихота на Уолл-стрит. Как всякий человек с хорошим

---

[68] Примечания: 68

Было у меня также тайное намерение начертить образ Пьера Менара. Но могу ли я посметь состязаться с золотыми страницами, которые, говорят мне, готовит баронесса де Бакур, или с изящным и точным карандашом Каролюса Уркада?

[69] Примечания: 69

...фрагмент Новалиса... — «Я могу быть на самом деле убежден, что понял автора, только если я в силах полностью отождествиться с ним в любом движении духа, только если я в состоянии, не искажая его своеобычности, перевести и преобразить его мысль на сто разных ладов». *(Прим. Б. Дубин)*

[70] Примечания: 70

Каннебьер — улица в Марселе. *(Прим. Б. Дубин)*

вкусом, Менар питал отвращение к этим бессмысленным карнавалам, пригодным лишь на то, — говаривал он, — чтобы возбуждать плебейское удовольствие анахронизмом или (еще хуже!) морочить нас примитивной идеей, будто все эпохи одинаковы либо будто все они различны. Более интересной, хотя по исполнению противоречивой и поверхностной, считал он блестящую мысль Доде[71]: соединить в «одной» фигуре, то есть в Тартарене, Хитроумного Идальго и его оруженосца... Люди, намекавшие, что Менар посвятил свою жизнь сочинению современного «Дон Кихота», клевещут на его светлую память.

Не второго «Дон Кихота» хотел он сочинить — это было бы нетрудно, — но именно «Дон Кихота». Излишне говорить, что он отнюдь не имел в виду механическое копирование, не намеревался переписывать роман. Его дерзновенный замысел состоял в том, чтобы создать несколько страниц, которые бы совпадали — слово в слово и строка в строку — с написанными Мигелем де Сервантесом.

«Моя цель совершенно необычна, — писал он мне 30 сентября из Байонны. — Конечный

---

[71] Примечания: 71

...блестящую мысль Доде... — «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона», гл. VI. *(Прим. Б. Дубин)*

пункт всякого теологического или метафизического доказательства — внешний мир, Бог, случайность, универсальные формы — столь же избит и всем известен, как этот знаменитый роман. Единственное различие состоит в том, что философы в увлекательных книгах публикуют промежуточные этапы своей работы, а я решил их пропустить». И действительно, не осталось ни одного черновика, который отразил бы его многолетний труд.

Вначале он наметил себе относительно простой метод. Хорошо изучить испанский, возродить в себе католическую веру, сражаться с маврами или с турками, забыть историю Европы между 1602 и 1918 годами, «быть» Мигелем де Сервантесом. Пьер Менар тщательно обдумал этот способ (я знаю, что он достиг довольно приличного знания испанского языка семнадцатого века), но отверг его как чересчур легкий. Вернее, как невозможный! — скажет читатель. Согласен. Но ведь само предприятие было заведомо невозможным, и из всех невозможных способов осуществить его этот был наименее интересным. Быть в двадцатом веке популярным романистом семнадцатого века Менар счел для себя умалением. Быть в той или иной мере Сервантесом и прийти к

«Дон Кихоту» он счел менее трудным путем — и, следовательно, менее увлекательным, — чем продолжать быть Пьером Менаром и прийти к «Дон Кихоту» через жизненный опыт Пьера Менара. (Это убеждение, замечу кстати, побудило его опустить автобиографическое вступление ко второй части «Дон Кихота». Включить это вступление означало бы создать еще один персонаж, Сервантеса, но также означало бы представить «Дон Кихота» производным от этого персонажа, а не от Менара. Разумеется, этот легкий путь он отверг.) «Мое предприятие, по существу, не трудно, — читаю я в другом месте его письма. — Чтобы довести его до конца, мне надо было бы только быть бессмертным». Признаться ли, что я часто воображаю, будто он его завершил и будто я читаю «Дон Кихота» — всего «Дон Кихота», — как если бы его придумал Менар? Недавно ночью, листая главу XXVI, — за которую он никогда не брался, — я узнал стиль нашего друга и как бы его голос в этой необычной фразе: «Речные нимфы[72], скорбная и влажная Эхо». Это впечатляющее сочетание эпитетов, обозначающих моральные и физические качества, привело мне

---

[72] Примечания: 72

...«Речные нимфы...» — «Дон Кихот», I, 26. *(Прим. Б. Дубин)*

на память стих Шекспира, который мы как-то вечером обсуждали:

> *Where a malignant and a turbaned Turk…*[73], [74]

Но почему же именно «Дон Кихот»? — спросит наш читатель. У испанца такой выбор не был бы загадочен, но он бесспорно загадочен у символиста из Нима, страстного поклонника По, который породил Бодлера, который породил Малларме, который породил Валери, который породил Эдмона Тэста. Цитированное выше письмо отвечает на этот вопрос. «Дон Кихот, — объясняет Менар, — меня глубоко интересует, но не кажется мне, как бы это выразить, неизбежным. Я не могу вообразить себе мир без восклицания По:

> *Ah! Bear in mind this garden was enchanted!*[75], [76] —

---

[73] Примечания: 73
Где злобный и тюрбаноносный турок… *(англ.)*

[74] Примечания: 74
Where a malignant… — «Отелло», V, 2. *(Прим. Б. Дубин)*

[75] Примечания: 75
Ах, не забудь, что сад был зачарован! *(англ.)*

[76] Примечания: 76
Ah! Bear in mind… — строка из стихотворения Эдгара По «К Елене» (1848). Борхес уже приводил ее в рецензии на книгу Э. Шенкса об Эдгаре По (журнал «Очаг», 1937). *(Прим. Б. Дубин)*

или без „Le bateau ivre“[77], или без „The Ancient Mariner“[78], [79], но чувствую себя способным вообразить его без „Дон Кихота“. (Естественно, я говорю о своей личной способности, а не об историческом резонансе этих произведений.) „Дон Кихот“ — книга случайная, „Дон Кихот“ вовсе не необходим. Я могу представить себе, как его написать, могу написать его, не рискуя впасть в тавтологию. Читал я его в двенадцать или тринадцать лет, и, вероятно, целиком. Впоследствии я внимательно перечитывал отдельные главы, те, к которым пока не буду подступаться. Изучал я также интермедии, комедии, „Галатею“, „Назидательные новеллы“[80], бесспорно злосчастные „Странствия Персилеса и Сехизмунды“ и „Путешествие на Парнас“... Общее мое впечатление от „Дон Кихота“, упрощенное забывчивостью

---

[77] Примечания: 77
«Пьяный корабль» *(фр.).*

[78] Примечания: 78
«Старый моряк» *(англ.).*

[79] Примечания: 79
«Le bateau ivre», «The Ancient Mariner» — два эти видения уже были соединены у Борхеса в эссе «Переводчики „Тысячи и одной ночи“». *(Прим. Б. Дубин)*

[80] Примечания: 80
...«Галатею», «Назидательные новеллы»... — Перечисляются произведения Сервантеса разных лет, принадлежащие к различным жанрам. *(Прим. Б. Дубин)*

и равнодушием, можно вполне приравнять к смутному предварительному образу еще не написанной книги. Приняв как предпосылку этот образ (существование которого в моем уме никто по совести не может отрицать), остается признать, что моя задача гораздо труднее, чем задача Сервантеса. Мой покладистый предшественник не уклонялся от помощи случая: он сочинял свое бессмертное произведение немного à la diable[81], увлеченный инерцией языка и своей фантазии. Мною же руководит таинственный долг воспроизвести буквально его спонтанно созданный роман. Моя игра в одиночку будет подчинена двум полярно противоположным правилам. Первое разрешает мне пробовать любые варианты формального или психологического свойства; второе требует жертвовать ими ради „оригинального“ текста и обосновать непреложными доводами их уничтожение… К этим искусственным путам надо прибавить еще одно родственное им ограничение. Сочинить „Дон Кихота“ в начале семнадцатого века было предприятием разумным, необходимым, быть может, фатальным; в начале двадцатого века

[81] Примечания: 81
Наудачу *(фр.)*.

оно почти неосуществимо. Не напрасно ведь прошли триста лет, заполненных сложнейшими событиями. Среди них — чтобы назвать хоть одно — самим „Дон Кихотом“».

Несмотря на эти три препятствия, фрагментарный «Дон Кихот» Менара — произведение более тонкое, чем у Сервантеса. Сервантес попросту противопоставляет рыцарским вымыслам убогую провинциальную реальность своей страны; Менар избирает в качестве «реальности» страну Кармен в век Лепанто и Лопе. Сколько всяких испанских штучек подсказал бы подобный выбор Морису Барресу[82] или доктору Родригесу Ларрете! Менар — что совершенно естественно — их избегает. В его произведении нет ни цыганщины, ни конкистадоров, ни мистиков, ни Филиппа Второго, ни аутодафе. Местным колоритом он пренебрегает или запрещает его себе. Это пренебрежение указывает историческому роману новый путь. Это пренебрежение — безапелляционный приговор «Саламбо».

Не меньше поражают отдельные главы. Рассмотрим, например, главу XXXVIII первой части, «где приводится любопытная речь Дон Кихота

---

[82] Примечания: 82

Баррес — в данном случае речь идет о его книгах испанской тематики — «Тайна Толедо» и др. *(Прим. Б. Дубин)*

о военном поприще и учености». Известно, что Дон Кихот (как Кеведо в аналогичном и более позднем пассаже из «Часа воздаяния»[83]) решает дело в пользу военного поприща, а не учености. Сервантес — старый воин, его приговор понятен. Но чтобы Дон Кихот у Пьера Менара — современника «La trahison des clercs»[84], [85] и Бертрана Рассела — снова вдавался в эти туманные софистические рассуждения! Мадам Башелье усмотрела в них разительное и очень типичное подчинение автора психологии героя; другие (отнюдь не проницательные!) — просто «копию» «Дон Кихота»; баронесса де Бакур — влияние Ницше. К этому третьему толкованию (на мой взгляд, неопровержимому), сам не знаю, решусь ли прибавить четвертое, вполне согласующееся с почти божественной скромностью Пьера Менара — его грустной или иронической манерой пропагандировать идеи, являющиеся точной

---

[83] Примечания: 83

«Час воздаяния и Разумная Фортуна» (опубл. 1650) — собрание гротескных сценок Ф. Кеведо. *(Прим. Б. Дубин)*

[84] Примечания: 84

«Вероотступничество грамотеев» *(фр.).*

[85] Примечания: 85

«La trahison des clercs» (1927) — нашумевшая в свое время книга французского писателя Жюльена Бенда, где интеллектуалы обвинялись в политической вовлеченности и духовном отступничестве. *(Прим. Б. Дубин)*

противоположностью тех, которых придерживался он сам. (Напомним еще раз о его диатрибе против Поля Валери на страницах эфемерного сюрреалистического журнальчика Жака Ребуля.) Текст Сервантеса и текст Менара в словесном плане идентичны, однако второй бесконечно более богат по содержанию. (Более двусмыслен, скажут его хулители; но ведь двусмысленность — это богатство.)

Сравнивать «Дон Кихота» Менара и «Дон Кихота» Сервантеса — это подлинное откровение! Сервантес, к примеру, писал («Дон Кихот», часть первая, глава девятая):

«…истина — мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение настоящему, предостережение будущему».

Написанный в семнадцатом веке, написанный «талантом-самоучкой» Сервантесом, этот перечень — чисто риторическое восхваление истории. Менар же пишет:

«…истина — мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение настоящему, предостережение будущему».

История — «мать» истины; поразительная

мысль! Менар, современник Уильяма Джеймса, определяет историю не как исследование реальности, а как ее источник. Историческая истина для него не то, что произошло, она то, что, как мы полагаем, произошло.

Заключительные слова — «пример и поучение настоящему, предостережение будущему» — нагло прагматичны.

Столь же ярок контраст стилей. Архаизирующий стиль Менара — иностранца как-никак — грешит некоторой аффектацией. Этого нет у его предшественника, свободно владеющего общепринятым испанским языком своей эпохи.

Нет такого интеллектуального упражнения, которое в итоге не принесло бы пользы. Любое философское учение — это сперва некое правдоподобное описание вселенной; проходят годы, и вот оно всего лишь глава — если не абзац или не одно имя — в истории философии. В литературе подобное устаревание еще более явно. «Дон Кихот», говорил мне Менар, был прежде всего занимательной книгой; ныне он — предлог для патриотических тостов, для высокомерия грамматиков, для неприлично роскошных изданий. Слава — это непонимание, а может, и того хуже.

В этих нигилистических выпадах нет ничего

нового — удивительно решение, к которому они привели Пьера Менара. Он вознамерился стать выше тщеславия, подстерегающего человека во всех его трудах, он затеял дело сложнейшее и заведомо пустое. Всю свою добросовестность и часы бдения он посвятил тому, чтобы повторить на чужом языке уже существующую книгу. Черновикам не было счета, он упорно правил и рвал в клочки тысячи исписанных страниц[86]. Он никому не позволял взглянуть на них и позаботился, чтобы они его не пережили. Я пытался их восстановить, но безуспешно.

И вот я размышляю над тем, что «окончательного» «Дон Кихота» надо было бы рассматривать как своего рода палимпсест, в котором должны сквозить контуры — еле заметные, но поддающиеся расшифровке — «более раннего» почерка нашего друга. К сожалению, лишь некий второй Пьер Менар, проделав в обратном порядке работу своего предшественника, сумел бы откопать и воскресить эту Трою…

«Думать, анализировать, изобретать, — писал

---

[86] Примечания: 86

Вспоминаю его тетради в клеточку, его помарки черными чернилами, его особые корректурные знаки и мелкие, как мошкара, буквочки. Он любил в сумерки гулять по окраинам Нима — каждый раз брал с собою тетрадь и разводил веселый костер.

он мне еще, — это вовсе не аномалия, это нормальное дыхание разума. Прославлять случайный плод подобных его функций, копить древние и чужие мысли, вспоминать с недоверчивым изумлением то, что думал doctor universalis[87], — означает признаваться в нашем слабосилии или в нашем невежестве. Всякий человек должен быть способен вместить все идеи, и полагаю, что в будущем он таким будет».

[87] Примечания: 87

Doctor universalis — почетный титул немецкого богослова и естествоиспытателя Альберта Великого; позже он применялся к Фоме Аквинскому и другим схоластам Средневековья. *(Прим. Б. Дубин)*

Менар (возможно, сам того не желая) обогатил кропотливое и примитивное искусство чтения техническим приемом нарочитого анахронизма и ложных атрибуций. Прием этот имеет безграничное применение — он соблазняет нас читать «Одиссею» как произведение более позднее, чем «Энеида», и книгу «Le jardin du Centaure»[88], [89] мадам Анри Башелье, как если бы ее написала мадам Анри Башелье. Этот прием населяет приключениями самые мирные книги. Приписать Луи Фердинанду Селину или Джеймсу Джойсу «О подражании Христу»[90] — разве это не внесло бы заметную новизну в эти тонкие духовные наставления?

Ним, 1939 г.

Перевод Е. Лысенко

---

[88] Примечания: 88

«Сад кентавра» *(фр.).*

[89] Примечания: 89

«Le jardin du Centaure» — в данном контексте «кентавр» может отсылать и к одноименному позднесимволистскому журналу, где печатались стихи Валери и его «Вечер с господином Тэстом». *(Прим. Б. Дубин)*

[90] Примечания: 90

«О подражании Христу» — трактат, который приписывается нидерландскому богослову Фоме Кемпийскому (ок. 1380–1471); идея хронологической перетасовки писателей и их книг обсуждается Борхесом неоднократно (см. новеллу «Тлён, Укбар, Орбис Терциус»). *(Прим. Б. Дубин)*

В кругу развалин[91]

And if he left off dreaming about you…
***«Through the Looking-Glass», IV*[92], [93]**

Никто не видел, как он приплыл в сплошной темноте; никто не видел, как бамбуковый челнок погружался в священную топь, но уже через несколько дней все вокруг рассказывали, что молчаливый человек прибыл с юга и родился в одной из бесчисленных деревушек вверх по реке, на безжалостных кручах, где язык зенд[94] не затронут греческим и редко встретишь проказу. А на самом деле седой человек пал на топкую кромку, вскарабкался по склону, не отводя (и,

---

[91] Примечания: 91

Исследователи видят в рассказе, среди прочего, влияние новеллы Джованни Папини «Последний визит Больного Джентльмена» (сб. «Трагическая повседневность», 1906), включенной Борхесом в «Антологию фантастической литературы». *(Прим. Б. Дубин)*

[92] Примечания: 92

И если он прекратит грезить о вас… — *«В Зазеркалье», IV (англ.).*

[93] Примечания: 93

«Through the Looking-Glass» (1871) — сказочная повесть Льюиса Кэрролла, процитированный ее фрагмент Борхес включил в свою «Антологию фантастической литературы» (см.: Антология фантастической литературы / Сост. Х. Л. Борхес, А. Бьой Касарес, С. Окампо. СПб.: Амфора, 1999. С. 367). *(Прим. Б. Дубин)*

[94] Примечания: 94

Зенд — иранская народность; языком зенд иногда (и неточно) называют авестийский. *(Прим. Б. Дубин)*

видимо, не замечая) раздиравших тело колючек, и, шатаясь и кровоточа, дотащился до круглого сооружения когда-то цвета пламени, а теперь — пепла, которое венчала каменная фигура то ли тигра, то ли коня. Здание было храмом, чьи стены изуродовали давние пожары и осквернили болотные заросли, а божество уже много лет не принимало людских почестей. Чужак рухнул у цоколя. Разбудило его высоко стоявшее солнце. Он безучастно убедился, что раны зарубцевались, прикрыл поблекшие глаза и снова уснул — не по слабости плоти, но усилием воли. Теперь он знал, что именно этот храм и нужен для его несокрушимого замысла, знал, что бессчетные деревья вниз по реке все-таки не стерли развалин другого подходящего для его целей храма, чьи боги тоже обуглены и мертвы; знал, что первейшая забота сейчас — сон. Глубокой ночью его разбудил безутешный крик птицы. По следам босых ступней, смоквам и кувшину рядом он понял, что окрестные жители с почтением следили за сном пришельца, ища его покровительства или опасаясь колдовства. Он похолодел от страха и, отыскав в щербатой стене погребальную нишу, залез в нее и укрылся неизвестными листьями.

Ведший его замысел был хоть и сверхъесте-

ственным, но не безнадежным. Он намеревался создать во сне человека: создать во всей филигранной полноте, чтобы потом приобщить к действительности. Этот колдовской план поглощал его целиком: поинтересуйся кто-нибудь его именем или какой-то деталью из прежней жизни, и он бы, пожалуй, не сразу ответил. Разрушенный и безлюдный храм вполне устраивал чужака, как и соседство земледельцев, взявшихся удовлетворять его скромные аппетиты. Подношений из риса и плодов с избытком хватало телу, отданному единственной заботе — спать и грезить.

Вначале сны были сумбурными и лишь понемногу обрели связность. Пришелец видел себя посреди круглого амфитеатра, чем-то напоминавшего сожженный храм: тысячи учеников томили ряды скамей, лица последних проступали в бесконечной дали и на высоте звезд, но рисовались в мельчайших подробностях. Он читал лекции по анатомии, космографии, магии; они усердно слушали и старались отвечать толково, словно понимая важность испытания, которое освободит одного из них от бесплодного и призрачного удела, включив в реальность. И во сне, и наяву наставник взвешивал ответы своих видений, не позволяя плутам себя провести и угадывая в

замешательстве иных пробуждающийся разум. Он искал душу, достойную причащения к миру.

Ночей через девять-десять он не без горечи признался себе, что от учеников, покорно впитывающих уроки, ждать нечего, — надеяться можно лишь на тех, кто время от времени решается ему осмысленно возражать. Первые хоть и заслуживают любви и тепла, никогда не поднимутся до уровня личности, последние сумеют несколько больше. Однажды вечером (вечера теперь тоже отводились снам, а бодрствованию — лишь час-другой поутру) он навсегда распустил свою огромную призрачную школу и остался с единственным питомцем. Это был молчаливый, смуглый, порою упрямый мальчик с тонким лицом, напоминающим самого сновидца. Внезапное исчезновение однокашников не обескуражило его; успехи, заметные уже после нескольких частных уроков, поразили наставника. Но крах приближался. Однажды человек выкарабкался из топкой пустыни сна, увидел бессмысленный луч заката, который на миг спутал с рассветом, и понял, что не спал. Всю ночь и весь следующий день его изводила невыносимая ясность бессонницы. Он попробовал углубиться в чащу, выбиться из сил, но едва сумел найти в

зарослях цикуты несколько минут некрепкого забытья с беглыми, полузачаточными видениями. Все было бесполезно. Он попробовал вновь собрать свою аудиторию, но не успел сложить и нескольких поучительных слов, как лица расплылись и стерлись. Почти не смыкаясь, его стариковские глаза горели от злых слез.

Он понял, что придать форму бессвязному, мутящему разум веществу, из которого созданы наши сны[95], — самая трудная среди задач, выпадающих на долю человека, даже если он постиг все тайны неба и земли; это труднее, чем вить веревку из песка[96] или чеканить бесплотный ветер. Понял, что первый провал был неизбежен. Сновидец поклялся стереть из памяти исполинское наваждение, с самого начала сбившее его с пути, и стал искать другой подход. Но прежде он посвятил месяц восстановлению сил, растраченных в пустом бреду. Он выбросил из головы даже

---

[95] Примечания: 95

…веществу, из которого созданы наши сны… — Многократно цитированные Борхесом слова из шекспировской «Бури» (IV, 1). *(Прим. Б. Дубин)*

[96] Примечания: 96

…вить веревку из песка… — Это выражение тщеты человеческих усилий приводит как пословицу Ириней Лионский в труде «Против ересей» (I, 8, 1), относя его к гностикам; его повторяет английский барочный поэт Джордж Херберт в строке, которую Борхес взял эпиграфом к новелле «Книга песка». *(Прим. Б. Дубин)*

мысль о сновидениях и тут же впал в забытье на добрую часть дня. В редкие минуты, когда сны ему все-таки снились, он старался на них не задерживаться. Чтобы вернуться к замыслу, он дождался полнолуния. На закате омылся в водах реки, почтил небесных богов, произнес заветные звуки всемогущего имени и уснул. Тут же ему представилось бьющееся сердце.

Он видел его — живое, крохотное, затаенное, размером с кулак и цвета коралла — в полутьме человеческой плоти без лица и пола; раз за разом он с терпением и любовью воспроизводил его четырнадцать безоблачных ночей. И с каждой ночью сердце проступало все подробней. Он не касался его рукой, лишь находя, окидывая и порой подправляя глазами. Он обрисовывал, обживал его взглядом, поворачивал то так, то этак, то приближаясь, то отходя. Только через две недели он обвел пальцем легочную артерию и все сердце целиком, изнутри и снаружи. Создатель остался доволен. Он прервал свой труд на одну ночь, а потом снова представил себе сердце, испросил благословение звезд и принялся за другие части тела. К концу года он дошел до костяка, до глазниц. Самыми трудными оказались неисчислимые волоски на коже. И вот перед ним был

весь человек разом — юноша, пока еще не двигающийся, не говорящий и не открывающий глаз. Ночь за ночью сновидец любовался им, спящим.

В космогониях гностиков творящие силы замешивают из красной глины Адама, который не держится на ногах; таким же нескладным, грубым и безыскусным, как тот, глиняный, был и этот сновиденный Адам, сработанный кудесником ночь за ночью. Однажды вечером создатель чуть было не разбил свое творение, но удержался. (И напрасно.) Принеся благодарственные жертвы божествам земли и воды, он пал к изножью фигуры то ли тигра, то ли коня и взмолился о его неведомой поддержке. Тем же вечером изваяние приснилось ему — живое, движущееся: не чудовищный выродок тигра и коня, нет, оба этих диких существа разом, а кроме того, бык, роза и ураган. Многоликий Бог рассказал, что его земное имя — Огонь, что в этом круглом храме (и других таких же) ему воздавались почести и приносились жертвы и он в силах своим волшебством оживить сновиденный призрак так, что все, за вычетом сновидца и самого Огня, будут видеть в нем человека из плоти и крови. Он наказал обучить создание обрядам и отправить его в другой разрушенный храм, чьи пирамиды еще

сохранились вниз по реке, дабы хоть один голос славил Бога в обезлюдевшем святилище. На этом призрак, приснившийся спящему, очнулся.

Кудесник исполнил наказ. Он посвятил положенный срок (составивший два года) тому, чтобы приобщить новорожденного к таинствам мира и культу огня. В душе он уже страдал от будущей разлуки. Под предлогом учебы день за днем продлевал часы, отведенные сну. Взялся переделывать у своего творения правое плечо, как будто не совсем удачное. Иногда его посещало странное чувство, словно все это уже было… И все-таки дни наполняла радость; он закрывал глаза и говорил себе: «Сейчас я встречусь с сыном». А порой: «Зачатый мною сын ждет и не может жить без меня».

Мало-помалу он приучал его к реальности. Однажды приказал ему водрузить флаг на отдаленной вершине. Поутру флаг полыхал над ней. Устраивал он и другие похожие опыты, раз от разу все рискованней. С горечью он признался себе, что сын готов явиться в мир — и как можно скорей. Той же ночью сновидец впервые поцеловал его и отправил в другой храм, чьи развалины белели вниз по реке, далеко за непроходимой чащей и топью. Но прежде (чтобы тот никогда

не догадался, что он лишь призрак, и считал себя обычным человеком) создатель начисто стер из его памяти годы ученичества.

Его удовлетворение и спокойствие перемежались хандрой. В сумерках поутру и на закате он склонялся перед каменным изваянием, воображая, что его призрачный сын, наверное, исполняет эти же обряды в кругу других развалин вниз по реке; ночью ему не снилось ничего или то же, что всем на свете. Звуки и краски окружающего делались все глуше: как будто далекий сын поглощал крупицы его души. Цель жизни была достигнута, он коротал дни в странном самозабвении. Через какое-то время, которое одни рассказчики измеряют в годах, а другие — в пятилетиях, его разбудили среди ночи двое приплывших по реке: лиц он не разглядел, а услышал лишь рассказ о человеке из Северного храма, способном ходить по костру не обжигаясь. Кудесник тут же вспомнил слова Бога. Вспомнил: среди всего, населяющего землю, только Огонь знает, что его сын — призрак. Воспоминание сначала успокоило, а потом вдруг пронзило его. Он испугался, как бы сын не стал размышлять о своем необыкновенном отличии и ненароком не понял, что он — простая подделка. Быть не

человеком, а всего лишь отражением чьего-то сна — какая обидная, мутящая разум участь! Каждый отец беспокоится о детях, которых в замешательстве или радости произвел (а точнее — допустил родиться) на свет; стоит ли удивляться, что кудесник тревожился о будущем сына, жилка за жилкой и черта за чертой созданного им за тысячу и одну затаенную ото всех ночь.

Конец раздумий наступил внезапно, хотя были и предвестья. Сначала (после долгой засухи) — отдаленное, легкое, как птица, облачко над вершиной; потом — небо к югу, тронутое розовым, будто десны леопарда; еще позже — клубы дыма, проржавившего сталь ночей, и, наконец, паническое бегство животных. Так повторялось случившееся много веков назад. Развалины храма, посвященного Богу Огня, были вновь сметены огнем. Утром — без единой птицы — кудесник увидел, что он — в кольце стен, охваченных пламенем. На миг он заколебался, не укрыться ли в реке, но сказал себе, что смерть пришла увенчать его старость и освободить от трудов. И шагнул навстречу огненным клочьям. Но те не ужалили тела — они приласкали и обняли его, не опаляя и не пепеля. С облегчением, с покорностью он понял, что и сам — лишь призрак, снящийся

другому.

Перевод Б. Дубина

Лотерея в Вавилоне

Как все мужчины в Вавилоне, я побывал проконсулом; как все — рабом; изведал я и всемогущество, и позор, и темницу. Глядите, на правой руке у меня нет указательного пальца. Глядите, сквозь дыру в плаще видна красная татуировка на животе — это вторая буква, «бет». В ночи полнолуния она дает мне власть над людьми, чей знак буква «гимель», но подчиняет меня людям с «алефом», которые в безлунные ночи должны покоряться людям с «гимелем». В предрассветных сумерках, в подземелье, я убивал перед черным камнем священных быков. В течение лунного года я был объявлен невидимым: я кричал, и мне не отвечали, воровал хлеб, и меня не карали. Я познал то, чего не знают греки, — неуверенность. В медной камере, в виду платка безмолвного душителя, меня не покидала надежда; в потоке наслаждений — панический страх. Как сообщает с восхищением Гераклид Понтийский, Пифагор

вспоминал, что он был Пирром[97], а прежде Эвфорбием, а еще прежде каким-то другим смертным; мне, чтобы припомнить подобные превратности, вовсе не требуется призывать на помощь смерть или хотя бы обман.

Жестокой этой изменчивостью моей судьбы я обязан одному заведению, которое в других государствах неизвестно либо же действует скрыто и несовершенно: лотерее. Ее историей я не занимался; знаю, что маги не могут прийти к согласию, знаю, что о ее грандиозных целях мне известно столько же, сколько человеку, не сведущему в астрологии, известно о Луне. Я уроженец умопомрачительной страны, где над жизнью всех господствует лотерея; до нынешнего дня я думал о ней не больше, чем о непостижимом поведении богов или своего сердца. Теперь же, вдали от Вавилона и его милых нравов, я с некоторым удивлением размышляю о лотерее и о кощунственных догадках, о которых бормочут в сумерках люди в масках.

Отец мой рассказывал, что в древности — речь

---

[97] Примечания: 97

...Пифагор вспоминал, что он был Пирром... — См.: Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», VIII, 5. К идее метемпсихоза и этим словам Пифагора не раз обращался Лейбниц («Новые опыты о человеческом разумении», 1, 3). *(Прим. Б. Дубин)*

идет о веках или о годах? — лотерея была в Вавилоне игрою плебеев. Он говорил (правда ли это, не знаю), будто цирюльники в обмен на новые монеты давали квадратики из кости или пергамента с начертанными на них знаками. Разыгрывали их при полном свете дня: счастливцы получали, по чистому произволу случая, чеканные серебряные монеты. Как видите, процедура была самая простая.

Естественно, что подобные «лотереи» потерпели неудачу. У них не было никакой моральной силы. Они не были обращены ко всем чувствам человека, только к надежде. Из-за общественного равнодушия дельцы, учредившие эти торгашеские лотереи, стали терпеть убытки. Кто-то попробовал внести новшество: включить в список счастливых жребиев несколько несчастливых. Благодаря этой реформе покупатели нумерованных квадратиков получали двойной шанс — либо выиграть некую сумму, либо уплатить штраф, иногда немалый. Эта небольшая опасность (на каждые тридцать счастливых номеров приходился один проигрышный), как и следовало ожидать, оживила интерес публики. Вавилоняне увлеклись игрой. Того, кто не приобретал квадратиков, считали трусом, мало-

душным. Со временем это вполне оправданное презрение пошло по двум путям. Презирали того, кто не играл, но также презирали проигравших, которые платили проигранное. Компании (так ее стали тогда называть) приходилось защищать интересы выигравших, ибо те не могли получить свои выигрыши, если в кассе не было денег почти на всю сумму проигрышей. Стали подавать на проигравших в суд: судья присуждал их к выплате основного штрафа плюс судебные расходы или к нескольким дням тюрьмы. Чтобы надуть Компанию, все выбирали тюрьму. Бравада немногих стала причиною всемогущества Компании, ее религиозной, метафизической власти.

Прошло немного времени, и в сообщениях о жеребьевках уже не содержалось списка денежных проигрышей, а только указывалось количество дней тюрьмы на каждый несчастливый номер. Эта лаконичность, в свое время почти не замеченная, имела важность необыкновенную. *Так в лотерее впервые появились элементы, не связанные с деньгами.* Успех был огромный. Под давлением тех, кто играл, Компании пришлось увеличить количество несчастливых номеров.

Всем известно, что народ Вавилона весьма привержен логике и даже симметрии. То, что

счастливые номера получали выражение в кругленьких монетах, а несчастливые — в днях и ночах тюремного заточения, представлялось несообразностью. Некоторые моралисты выразили мнение, что обладание монетами не всегда обеспечивает блаженство и что другие формы удачи, возможно, дают более прямой эффект.

В плебейских кварталах ширилась тревога иного рода. Члены жреческой коллегии умножали ставки и наслаждались всеми превратностями страха и надежды; бедняки (с понятной и неизбежной завистью) понимали, что они исключены из этих бурных, столь восхитительных переживаний. Справедливое стремление к тому, чтобы все — и бедные, и богатые — равно участвовали в лотерее, привело к волнениям, память о коих не изгладили годы. Некоторые упрямцы не понимали (или притворялись, будто не понимают), что речь идет о новом порядке, о необходимом историческом этапе… Как-то один раб украл красный билетик, и при розыгрыше ему выпало, что у него должны выжечь язык. Такое же наказание определял кодекс законов за кражу билета. Одни вавилоняне утверждали, что он заслужил кару раскаленным железом как вор; другие великодушно полагали, что палач должен покарать

его по велению судьбы… Начались беспорядки, произошло прискорбное кровопролитие, но в конце концов вавилонский народ настоял на своем вопреки сопротивлению богачей. Народ достиг полного осуществления своих благородных целей. Прежде всего он добился того, чтобы Компания взяла на себя всю полноту власти. (Эта централизация была необходима ввиду сложности нового способа действий.) Во-вторых, он добился, чтобы лотерея была тайной, бесплатной и всеобщей. Продажа жребиев за деньги была упразднена. Всякий свободный человек, пройдя посвящение в таинства Бела[98], автоматически становился участником священных жеребьевок, которые совершались в лабиринтах этого Бога каждые шестьдесят ночей и определяли судьбу человека до следующей жеребьевки. Последствия были непредсказуемы. Счастливый розыгрыш мог возвысить его до Совета магов, или дать ему власть посадить в темницу своего врага (явного или тайного), или даровать свидание в уютной полутьме опочивальни с женщиной, которая начала его тревожить или которую

[98] Примечания: 98

Бел (Баал, Ваал и др.) — бог-зиждитель в западносемитской мифологии, изображался в виде быка или человека с бычьей головой (ср. с Минотавром). *(Прим. Б. Дубин)*

он уже не надеялся увидеть снова; неудачная жеребьевка могла принести увечье, всевозможные виды позора, смерть. Иногда один и тот же факт — убийство в кабаке некоего А, таинственное возвышение некоего Б — был остроумным соединением тридцати или сорока жребиев. Подобное комбинирование — дело нелегкое, но надо напомнить, что члены Компании были (и продолжают быть) всемогущи и хитроумны. Во многих случаях сознание того, что дарованные тебе блага — это простая игра случая, умалило бы их власть; дабы устранить эту нежелательную возможность, агенты Компании пользовались внушением и магией. Их действия, их маневры держались в тайне. Чтобы выведать заветные надежды и заветные страхи каждого, пользовались услугами астрологов и шпионов. Имелись некие каменные изваяния львов, имелось священное отхожее место, именовавшееся «Кафка», имелись трещины в заброшенном, пыльном водопроводе, которые, по всеобщему убеждению, *сообщались с Компанией:* злобные или благорасположенные люди приносили в эти места свои доносы. Эти сведения, неравноценные по своей правдивости, хранились в архиве, распределенные в алфавитном порядке.

Трудно поверить, но некоторые роптали. Компания, с присущей ей сдержанностью, не отвечала прямо. Ее деятели предпочли набросать на отходах мастерской по изготовлению масок краткую отповедь, которая ныне фигурирует среди священных текстов. Сей догматический фрагмент гласил, что лотерея есть интерполяция случая в миропорядок и что наличие ошибок не противоречит случаю, но, напротив, укрепляет его. Также там говорилось, что и львы, и священная клоака хотя и не дезавуируются Компанией (которая не отказывается от права обращаться к ним), однако функционируют без официальной гарантии.

Это заявление успокоило тревогу общества. Кроме того, оно имело и другие последствия, авторами, возможно, не предвиденные. Оно глубоко изменило дух и операции Компании. Я очень спешу — нас предупредили, что корабль готовится сняться с якоря, — однако попытаюсь это объяснить.

Как ни покажется невероятным, но до той поры никто не пытался создать общую теорию игр. Вавилонянин не склонен к умозрительным операциям. Он чтит приговоры случая, препоручает им свою жизнь, свою надежду, свой панический

страх, однако ему в голову не приходит исследовать ни запутанные закономерности случая, ни движение вращающихся шаров, которые его нам открывают. И все же вышеупомянутое официальное заявление возбудило много споров юридически-математического характера. В одном из них возникло следующее предположение: если лотерея является интенсификацией случая, периодическим введением хаоса в космос, то есть в миропорядок, не лучше ли, чтобы случай участвовал во всех этапах розыгрыша, а не только в одном? Разве не смехотворно, что случай присуждает кому-либо смерть, а обстоятельства этой смерти — секретность или гласность, срок ожидания в один час или в один год — неподвластны случаю? Эти столь справедливые сомнения вызвали в конце концов значительную реформу, сложности которой (усугубленные вековым опытом) доступны лишь немногим специалистам, но я все же попробую их изложить вкратце, хотя бы схематически.

Вообразим первую жеребьевку, при которой кому-то выпала смерть. Для исполнения приговора прибегают ко второй жеребьевке, в которой предлагается (к примеру) участие девяти возможных исполнителей. Из этих исполнителей четверо мо-

гут затеять третью жеребьевку, которая укажет имя палача, у двоих прежнее неблагоприятное решение может смениться счастливым (нахождением клада, к примеру), еще один должен будет сделать смерть более мучительной (то есть прибавить к ней позор или украсить ее пытками), другие могут отказаться свершить казнь… Но это только схема. В действительности *число жеребьевок бесконечно*. Ни одно решение не является окончательным, все они разветвляются, порождая другие. Невежды предположат, что бесконечные жеребьевки требуют бесконечного времени; на самом же деле достаточно того, чтобы время поддавалось бесконечному делению, как учит знаменитая задача о состязании с черепахой. Эта бесконечность изумительно согласуется с причудливым чередованием чисел Случая и Небесным Архетипом лотереи, которому поклоняются платоники… Искаженное эхо наших ритуалов, кажется, отозвалось на берегах Тибра: Элий Лампридий в «Жизнеописании Антонина Гелиогабала» сообщает, что этот император писал на раковинах участь[99], которую

[99] Примечания: 99

…император писал на раковинах участь… — У Элия Лампридия в его биографии Антонина Гелиогабала говорится о ложках (XXII, I). *(Прим. Б. Дубин)*

он предназначал своим гостям, так что один получал десять фунтов золота, а другой — десять мух, десять сурков, десять медведей. Следует напомнить, что Гелиогабал воспитывался в Малой Азии, среди жрецов Бога-эпонима[100].

Бывают также жеребьевки безличные, по целям неопределенные: по одной требуется бросить в воды Евфрата сапфир из Тапробаны[101]; по другой — стоя на башне, отпустить на волю птицу; по третьей — убирать (или прибавлять) каждые сто лет песчинку в бесчисленном их количестве на морском берегу. Последствия порой бывают ужасными.

При благодетельном воздействии Компании наша жизнь полна случайностей. Купивший дюжину амфор дамасского вина не удивится, если в одной из них окажется талисман или гадюка; писец, записывающий контракт, не преминет вставить неверную дату; я сам, в этом поспешном сообщении, кое-где подбавил блеску, кое-где — жестокости. А может быть, и некоего таинственного колорита… Наши историки, са-

---

[100] Примечания: 100

Бог-эпоним — здесь: финикийский бог солнца Гелиогабал (Элагабал). *(Прим. Б. Дубин)*

[101] Примечания: 101

Тапробана — старинное название Цейлона. *(Прим. Б. Дубин)*

мые проницательные в мире, придумали способ исправлять влияние случая; ходят слухи, что их действия по этому методу достойны доверия (в общем), хотя, разумеется, разглашаются они не без толики *лжи*. Впрочем, нет ничего более зараженного вымыслом, чем история Компании… Палеографический документ, откопанный в храме, может оказаться продуктом вчерашней жеребьевки или жеребьевки столетней давности. Ни одна книга не издается без разночтений в каждом из экземпляров. Переписчики приносят тайную клятву пропускать, интерполировать, искажать. Применяется также прямой обман.

Сама Компания, соблюдая скрытность божества, избегает всякой рекламы. Вполне понятно, что ее агенты — все тайные: приказы, издаваемые ею постоянно (а может быть, и беспрерывно), не отличаются от тех, которые распространяются обманщиками. Да и кто может похвалиться, что он просто обманщик? Пьяница, вдруг сочинивший нелепый указ, человек, внезапно проснувшийся и душащий своими руками спящую рядом с ним женщину, — не исполняют ли они, часом, тайное решение Компании? Эта бесшумная деятельность, сопоставимая с действиями Бога, возбуждает всевозможные догадки. Одна из них

внушает чудовищную мысль, будто уже много веков Компания не существует и будто священный беспорядок в нашей жизни — чисто наследственный, традиционный; согласно другой, Компания вечна и будет существовать до последней ночи, когда последний Бог уничтожит мир. Еще одна версия гласит, что Компания всемогуща, но влияет только на ничтожные явления: на крик птицы, на оттенки ржавчины и пыли, на утреннюю дремоту. Другая, высказываемая устами маскирующихся ересиархов, состоит в том, что Компания *никогда не существовала и не будет существовать.* Еще одна, не менее гнусная, убеждает нас, что совершенно безразлично, подтверждаем мы или отрицаем реальность этой таинственной корпорации, ибо весь Вавилон — не что иное, как бесконечная игра случайностей.

Перевод Е. Лысенко

Анализ творчества Герберта Куэйна[102]

Герберт Куэйн скончался в Роскоммоне; я убедился — без особого удивления, — что Литературное приложение к «Таймс» уделило ему лишь полколонки некрологического сожаления, в котором нет ни одного хвалебного эпитета, не приглушенного (или же сурово приструненного) наречием. «Спектейтор» в соответствующем номере, бесспорно, не столь лаконичен и, пожалуй, более сердечен, однако он приравнивает первую книгу Куэйна, «The God of the Labyrinth»[103], к одной из книг г-жи Агаты Кристи, а другие — к книгам Гертруды Стайн; в упоминании этих имен, право же, не было никакой нужды, и оно вряд ли обрадовало бы покойника. Кстати сказать, он никогда не мнил себя гением, даже в перипатетические ночи литературных бесед, когда человек, уже заставивший потрудиться

---

[102] Примечания: 102

В жизнеописании героя некоторые комментаторы видят совпадения с биографией Дж. Джойса. *(Прим. Б. Дубин)*

[103] Примечания: 103

«Бог лабиринта» *(англ.)*.

печатные станки, непременно разыгрывает из себя либо месье Тэста, либо доктора Сэмюэля Джонсона… Он вполне отдавал себе отчет в экспериментальном характере своих книг — возможно, примечательных по новизне и по особой лаконической прямоте, однако не поражающих силой страсти. «Я — как оды Каули[104], — писал он мне из Лонгфорда шестого марта 1939 года. — Я принадлежу не искусству, а одной лишь истории искусства». По его мнению, не было науки, стоящей ниже истории.

Я упомянул одну из черт скромности Герберта Куэйна; скромностью этой, естественно, его мысль не исчерпывается. Флобер и Генри Джеймс приучили нас думать, что произведения искусства встречаются не часто и требуют больших трудов; шестнадцатый век (вспомним «Путешествие на Парнас», вспомним жизнь Шекспира) не разделял этого безнадежного мнения. Также и Герберт Куэйн. Он полагал, что хорошая литература вовсе не редкость и что почти каждый

[104] Примечания: 104

Абрахам Каули (1618–1667) — английский поэт сложной и рационалистической метафорики, не приобретший известности даже после издания его двухтомника авторитетным Сэмюэлом Джонсоном. В биографическом эссе о Каули Джонсон назвал его и близких к нему барочных авторов (Дж. Донн, Дж. Херберт и др.) «метафизическими поэтами». *(Прим. Б. Дубин)*

уличный диалог поднимается до нее. Еще он полагал, что эстетический факт не может обойтись без элемента удивления и что удивляться только памяти мало кто способен. С улыбчивым чистосердечием он сетовал на «рабскую и упорную приверженность» к старым книгам… Не знаю, можно ли счесть убедительной его довольно-таки расплывчатую теорию; но мне ясно, что его книги чересчур стремятся удивить.

Очень сожалею, что дал когда-то почитать одной даме — безвозвратно! — первую из опубликованных им книг. Я уже говорил, что речь идет о детективном романе «The God of the Labyrinth»; я благодарен издателю за то, что он пустил ее в продажу в последние дни ноября 1933 года. В первых числах декабря Лондон и Нью-Йорк были уже поглощены увлекательными и сложными интригами «Тайны сиамских близнецов»[105]; предпочитаю приписывать этому роковому совпадению неуспех романа нашего друга. Но также (буду уж искренен до конца) — несовершенству исполнения и пустой, холодной пышности некоторых описаний моря. По прошествии семи лет я уже не в состоянии восстановить детали

[105] Примечания: 105

«Тайна сиамских близнецов» (1933) — детективный роман Эллери Куина; Борхес не раз упоминал его в журнале «Очаг». *(Прим. Б. Дубин)*

действия, но вот его план в обедненном (но и очищенном) моей забывчивостью виде: на первых страницах излагается загадочное убийство[106], в середине происходит неторопливое его обсуждение, на последних страницах дается решение. После объяснения загадки следует длинный ретроспективный абзац, содержащий такую фразу: «Все полагали, что встреча двух шахматистов была случайной». Эта фраза дает понять, что решение загадки ошибочно. Встревоженный читатель перечитывает соответственные главы и обнаруживает *другое* решение, правильное. Читатель этой необычной книги оказывается более проницательным, чем *детектив.*

Еще больше ереси в «регрессивном и разветвленном» романе «April March»[107], третья (и единственная) часть которого опубликована в 1936 году. В суждениях об этой книге никто не отрицает, что видит в ней игру; да будет мне дозволено заметить, что и автор никогда не считал ее чем-либо иным. «Этому произведению

---

[106] Примечания: 106

...на первых страницах излагается загадочное убийство... — Весь этот пассаж перенесен Борхесом из рецензии на детективный роман Ричарда Халла «Excellent Intentions», опубликованной в журнале «Очаг» в 1938 г. *(Прим. Б. Дубин)*

[107] Примечания: 107

«Апрель март» *(англ.).*

я присваиваю, — говорил он мне, — главные черты всякой игры: симметрию, произвольность правил, скуку». Даже в названии есть легкий каламбур: оно не означает «Апрельский марш», но буквально — «Апрель март». Кто-то обнаружил на его страницах отзвук доктрин Данна; сам Куэйн в прологе предпочел вспомнить перевернутый мир Брэдли, где смерть предшествует рождению, шрам — ране, а рана — удару («Appearance and Reality»[108], 1897, с. 215)[109].

Миры, представленные в «April March», не являются регрессивными, регрессивен способ изложения. Регрессивен и разветвлен, как я уже сказал. Произведение состоит из тридцати глав. В первой приводится двусмысленный диалог двух неизвестных на перроне. Во второй излага-

---

[108] Примечания: 108

«Видимость и реальность» *(англ.).*

[109] Примечания: 109

Немного стоит эрудиция Герберта Куэйна и его ссылка на с. 215 книги 1897 года! Уже один из собеседников в Платоновом «Политике» описал подобную регрессию у земнорожденных, или автохтонов, которые под влиянием обратного вращения космоса переходили от старости к зрелости, от зрелости к детству, от детства к исчезновению, к ничто. Так же Феопомп в своей «Филиппике» говорит о неких северных плодах, вызывающих в том, кто их отведал, подобный же ретроспективный процесс… Более интересно вообразить обратное движение Времени — такое состояние, при котором мы бы вспоминали будущее и не знали бы или едва предчувствовали бы прошлое. Ср. десятую песнь «Ада», стихи 97–102, где сравниваются пророческое видение и дальнозоркость.

[*«Политика»* — диалог Платона, где излагается миф о земнорожденных и обратном ходе космического времени (269–273). «Земнорожденными» («автохтонами») себя называли афиняне, что вызвало возражение Еврипида: «Не родит земля детей» («Ион», 542; перевод И. Анненского). *Феопомп Хиосский* (377 — после 320 до н. э.) — древнегреческий ритор и историк, из его описания Эллады, истории царствования Филиппа II Македонского и романа «Меропия» дошли только отрывки у Элиана. *…десятую песнь «Ада»…* — Данте наделяет здесь даром ясновидения и неспособностью знать настоящее флорентийского гибеллина Фарината дельи Уберти. *(Прим. Б. Дубин)*]

ются события, происшедшие накануне действия первой. Третья глава, также ретроспективная, излагает события другого возможного кануна первой главы; четвертая глава — события третьего возможного кануна. Каждый из трех канунов (которые друг друга полностью взаимоисключают) разветвляется еще на другие три кануна, совершенно различные по типу. В целом произведение состоит из трех длинных глав по три новеллы в каждой. (Первая глава, разумеется, общая для всех прочих.) Из этих новелл одна имеет характер символический, другая — сверхъестественный, третья — детективный, еще одна — психологический и т. д. Понимание этой структуры, возможно, облегчит следующая схема:

$$z \begin{cases} y\,1 & \begin{cases} x\,1 \\ x\,2 \\ x\,3 \end{cases} \\ y\,2 & \begin{cases} x\,4 \\ x\,5 \\ x\,6 \end{cases} \\ y\,3 & \begin{cases} x\,7 \\ x\,8 \\ x\,9 \end{cases} \end{cases}$$

О структуре же можно повторить то, что сказал Шопенгауэр о двенадцати Кантовых категориях[110]: здесь все принесено в жертву страсти к симметрии. Как можно предвидеть, некоторые из девяти рассказов недостойны пера Куэйна; лучший — не тот, что был задуман первым, а именно *x* 4, но рассказ фантастического характера *x* 9. Другим вредят скучные шутки и ненужные псевдоподробности. Те, кто станет их читать в хронологическом порядке (например: *x* 3, *y* 1, *z*), не почувствуют особый смак этой странной книги. Два рассказа — *x* 7, *x* 8 — не имеют самостоятельной ценности, их эффект обнаруживается при сопоставлении… Не знаю, следует ли упоминать о том, что, уже опубликовав «April March», Куэйн разочаровался в троичной системе и предсказал, что будущие его подражатели изберут систему двоичную:

---

[110] Примечания: 110

…Шопенгауэр о двенадцати Кантовых категориях… — В «Критике кантовской философии» (приложении к первому тому труда «Мир как воля и представление») А. Шопенгауэр обнаруживает «удивительную любовь к симметрии» в логической таблице суждений из кантовской «Критики чистого разума». *(Прим. Б. Дубин)*

$$z \begin{cases} y\,1 & \begin{cases} x\,1 \\ x\,2 \end{cases} \\ y\,2 & \begin{cases} x\,3 \\ x\,4 \end{cases} \end{cases}$$

а демиурги и боги — бесконечную: бесконечные, бесконечно разветвляющиеся истории.

Совсем иная — но также ретроспективная — героическая комедия в двух актах «The Secret Mirror»[111]. В рассмотренных выше произведениях формальная сложность тормозила воображение автора; здесь оно развертывается более свободно. Действие первого акта (самого длинного) происходит в загородном доме генерала Трейла, С. I. E.[112], вблизи Мелтон-Маубрей. Невидимый центр драмы — мисс Ульрика Трейл, старшая дочь генерала. Несколько диалогов рисуют нам ее как надменную амазонку; мы подозреваем, что литературой она не интересуется; газеты объявляют о ее помолвке с герцогом Ретлендом; газеты опровергают слух о помолвке.

---

[111] Примечания: 111
«Тайное зеркало» *(англ.).*

[112] Примечания: 112
Companion of Indian Empire — кавалер ордена Индийской империи *(англ.).*

Ульрику обожает драматург Уилфред Куорлс, которому она подарила несколько мимолетных поцелуев. Действующие лица — люди знатные, с большим состоянием; страсти — благородные, хотя и бурные; диалог как бы балансирует между пышным пустословием Булвер-Литтона и эпиграммами Уайльда или м-ра Филиппа Гедальи. Есть там и соловей, и ночь; есть тайная дуэль на террасе. (Кое-где проглядывают то забавное противоречие, то какие-то грязные подробности.) Персонажи первого акта снова появляются во втором — под другими именами. «Драматург» Уилфред Куорлс — теперь коммивояжер из Ливерпуля; его настоящее имя Джон Уильям Куигли. Мисс Трейл — та существует; Куигли никогда ее не видел, однако с болезненной страстью коллекционирует ее портреты из «Тэтлера» или «Скетча». Куигли — автор первого акта. Неправдоподобный или невероятный «загородный дом» — это преображенный им и возвеличенный еврейско-ирландский пансион, где он живет… Сюжеты обоих актов параллельны, но во втором все немного мерзко, все снижено, опошлено. После премьеры «The Secret Mirror» критика

называла имена Фрейда и Жюльена Грина[113]. Упоминание первого, на мой взгляд, совершенно неоправданно.

О пьесе «The Secret Mirror» пошла слава как о фрейдистской комедии; это благоприятное (и ложное) толкование определило ее успех. К сожалению, Куэйну тогда уже исполнилось сорок лет, он привык к атмосфере неудач и не мог так просто примириться с переменой климата. Он решил отомстить. В конце 1939 года он опубликовал «Statements»[114] — возможно, самую оригинальную из своих книг, но, бесспорно, меньше всего снискавшую похвал и самую загадочную. Куэйн любил говорить, что читатели — это вымершая порода. «Нет такого европейца, — рассуждал он, — который не был бы писателем, потенциальным или действительным». Он также утверждал, что величайшее счастье, которое может доставить литература, заключается в возможности изобретать. Так как не всем это счастье дано, многим-де придется довольствоваться его подо-

---

[113] Примечания: 113

Жюльен Грин (1900–1998) — французский прозаик, аналитик душевных метаний, близкий к католицизму. Борхес писал о нем в журнале «Очаг» (1938). *(Прим. Б. Дубин)*

[114] Примечания: 114

«Утверждения» *(англ.)*.

бием. Для таких «не вполне писателей», коим имя легион, Куэйн сочинил восемь рассказов книги «Statements». В каждом намечен или обещан хороший сюжет, умышленно автором испорченный. В одном — не лучшем — подсказаны два сюжета. Читатель в порыве тщеславия думает, будто он их изобрел. Из третьего рассказа, «The Rose of Yesterday»[115], я, ничтоже сумняшеся, взял сюжет «В кругу развалин», одного из рассказов книги «Сад расходящихся тропок».

1941 г.

Перевод Е. Лысенко

---

[115] Примечания: 115
«Вчерашняя роза» *(англ.).*

Вавилонская библиотека

By this art you may contemplate the variation of the 23 letters…

***«The Anathomy of Melancholy», part 2, sect. II, mem. IV*[116], [117]**

Вселенная — некоторые называют ее Библиотекой — состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей, с широкими вентиляционными колодцами, огражденными невысокими перилами. Из каждого шестигранника видно два верхних и два нижних этажа — до бесконечности. Устройство галерей неизменно: двадцать полок, по пять длинных полок на каждой стене; кроме двух: их высота, равная высоте этажа, едва превышает средний рост библиотекаря. К одной из свободных сторон примыкает узкий коридор, ведущий в другую

---

[116] Примечания: 116

Это искусство позволит вам созерцать различные сочетания из двадцати трех букв… — *«Анатомия Меланхолии», ч. 2, разд. II, § IV (англ.).*

[117] Примечания: 117

«The Anathomy of Melancholy» (1621) — свод эссеистических размышлений английского писателя-эрудита Роберта Бертона. В предисловии к своей книге стихов «История ночи» (1977) Борхес назвал переполненные цитатами компендиумы Бертона и Монтеня «самыми личными книгами в мировой литературе». *(Прим. Б. Дубин)*

галерею, такую же, как первая и как все другие. Налево и направо от коридора два крохотных помещения. В одном можно спать стоя, в другом — удовлетворять естественные потребности. Рядом винтовая лестница уходит вверх и вниз и теряется вдали. В коридоре зеркало, достоверно удваивающее видимое. Зеркала наводят людей на мысль, что Библиотека не бесконечна (если она бесконечна на самом деле, зачем это иллюзорное удвоение?); я же предпочитаю думать, что гладкие поверхности выражают и обещают бесконечность… Свет дают округлые стеклянные плоды, которые носят название ламп. В каждом шестиграннике их две, по одной на противоположных стенах. Неяркий свет, который они излучают, никогда не гаснет.

Как все люди Библиотеки, в юности я путешествовал. Это было паломничество в поисках книги, возможно каталога каталогов; теперь, когда глаза мои еле разбирают то, что я пишу, я готов окончить жизнь в нескольких милях от шестигранника, в котором появился на свет. Когда я умру, чьи-нибудь милосердные руки перебросят меня через перила, могилой мне станет бездонный воздух; мое тело будет медленно падать, разлагаясь и исчезая в ветре, который вызывает

не имеющее конца падение. Я утверждаю, что Библиотека беспредельна. Идеалисты приводят доказательства того, что шестигранные помещения — это необходимая форма абсолютного пространства или, во всяком случае, нашего ощущения пространства. Они полагают, что треугольная или пятиугольная комната непостижимы. (Мистики уверяют, что в экстазе им является шарообразная зала с огромной круглой книгой, бесконечный корешок которой проходит по стенам; их свидетельства сомнительны, речи неясны. Эта сферическая книга есть Бог.)

Пока можно ограничиться классическим определением: Библиотека — это шар[118], точный центр которого находится в одном из шестигранников, а поверхность — недосягаема. На каждой из стен каждого шестигранника находится пять полок, на каждой полке — тридцать две книги одного формата, в каждой книге четыреста страниц, на каждой странице сорок строчек, в каждой строке около восьмидесяти букв черного цвета. Буквы есть и на корешке книги, но они не определяют и не предвещают того, что скажут страницы. Это несоответствие, я знаю, когда-то

[118] Примечания: 118

...Библиотека — это шар... — Ср. контексты этой формулы в эссе «Паскаль» и «Сфера Паскаля». *(Прим. Б. Дубин)*

казалось таинственным.

Прежде чем сделать вывод (что, несмотря на трагические последствия, возможно, и есть самое главное в этой истории), я хотел бы напомнить некоторые аксиомы.

Во-первых: Библиотека существует ab aeterno[119]. В этой истине, прямое следствие которой — грядущая вечность мира, не может усомниться ни один здравый ум. Человек, несовершенный библиотекарь, мог появиться в результате случая или действия злых гениев, но вселенная, оснащенная изящными полками, загадочными томами, нескончаемыми лестницами для странника и уборными для оседлого библиотекаря, может быть только творением Бога. Чтобы осознать, какая пропасть разделяет божественное и человеческое, достаточно сравнить каракули, нацарапанные моей неверной рукой на обложке книги, с полными гармонии буквами внутри: четкими, изысканными, очень черными, неподражаемо симметричными.

Во-вторых: число знаков для письма равно

---

[119] Примечания: 119
Извечно *(лат.).*

двадцати пяти[120], [121]. Эта аксиома позволила триста лет назад сформулировать общую теорию Библиотеки и удовлетворительно разрешить до тех пор неразрешимую проблему неясной и хаотической природы почти каждой книги. Одна книга, которую мой отец видел в шестиграннике пятнадцать девяносто четыре, состояла лишь из букв M C V, повторяющихся в разном порядке от первой строчки до последней. Другая, в которую любили заглядывать в этих краях, представляет собой настоящий лабиринт букв, но на предпоследней странице стоит: «О время, твои пирамиды»[122]. Известно, что на одну осмысленную строчку или истинное сообщение приходятся тысячи бессмыслиц, груды словесного хлама и абракадабры. (Мне известен дикий край, где библиотекари отказались от суеверной

---

[120] Примечания: 120

В рукописи отсутствуют цифры и заглавные буквы. Пунктуация ограничивается запятой и точкой. Эти два знака, расстояние между буквами и двадцать две буквы алфавита составляют двадцать пять знаков, перечисленных неизвестным. *(Примеч. изд.)*

[121] Примечания: 121

...число знаков для письма равно двадцати пяти. — Этот вариант универсального алфавита, равно как и идею всемирной библиотеки, Борхес почерпнул у Курта Лассвица. *(Прим. Б. Дубин)*

[122] Примечания: 122

«О время, твои пирамиды». — Образ, повторяющийся у Борхеса в стихотворении «Об Аде и Рае». *(Прим. Б. Дубин)*

и напрасной привычки искать в книгах смысл, считая, что это все равно что искать его в снах или в беспорядочных линиях руки… Они признают, что те, кто изобрел письмо, имитировали двадцать пять природных знаков, но утверждают, что их применение случайно и что сами по себе книги ничего не означают. Это мнение, как мы увидим, не лишено оснований.)

Долгое время считалось, что не поддающиеся прочтению книги написаны на древних или экзотических языках. Действительно, древние люди, первые библиотекари, пользовались языком, сильно отличающимся от теперешнего, действительно, несколькими милями правей говорят на диалекте, а девяноста этажами выше употребляют язык совершенно непонятный. Все это, я повторяю, правда, но четыреста десять страниц неизменных M C V не могут соответствовать никакому языку, даже диалектному, даже примитивному. Одни полагали, что буква может воздействовать на стоящую рядом и что значение букв M C V в третьей строчке страницы 71 не совпадает со значением тех же букв в другом порядке и на другой странице, но это туманное утверждение не имело успеха. Другие считали написанное криптограммой, эта догадка была

всюду принята, хотя и не в том смысле, который имели в виду те, кто ее выдвинул.

Лет пятьсот назад начальник одного из высших шестигранников[123] обнаружил книгу, такую же путаную, как и все другие, но в ней было почти два листа однородных строчек. Он показал находку бродячему расшифровщику, который сказал, что текст написан по-португальски, другие считали, что на идише. Не прошло и века, как язык был определен: самоедско-литовский диалект гуарани с окончаниями арабского классического. Удалось понять и содержание: заметки по комбинаторному анализу, иллюстрированные примерами вариантов с неограниченным повторением. Эти примеры позволили одному гениальному библиотекарю открыть основной закон Библиотеки. Этот мыслитель заметил, что все книги, как бы различны они ни были, состоят из одних и тех же элементов: расстояния между строками и буквами, точки, запятой, двадцати двух букв алфавита. Он же обосновал явление, отмечавшееся всеми странниками: *во всей огром-*

[123] Примечания: 123

Раньше на каждые три шестигранника приходился один человек. Самоубийства и легочные заболевания нарушили это соотношение. Невыразимо грустно вспомнить, как иногда я странствовал много ночей подряд по коридорам и ажурным лестницам, ни разу не встретив библиотекаря.

ной Библиотеке нет двух одинаковых книг. Исходя из этих неоспоримых предпосылок, я делаю вывод, что Библиотека всеобъемлюща и что на ее полках можно обнаружить все возможные комбинации двадцати с чем-то орфографических знаков (число их, хотя и огромно, не бесконечно) или все, что поддается выражению, — на всех языках. Все: подробнейшую историю будущего, автобиографии архангелов, верный каталог Библиотеки, тысячи и тысячи фальшивых каталогов, доказательство фальшивости верного каталога, гностическое Евангелие Василида, комментарий к этому Евангелию, комментарий к комментарию этого Евангелия, правдивый рассказ о твоей собственной смерти, перевод каждой книги на все языки, интерполяции каждой книги во все книги, трактат, который мог бы быть написан (но не был) Бедой по мифологии саксов, пропавшие труды Тацита[124].

Когда было провозглашено, что Библиотека объемлет все книги, первым ощущением была безудержная радость. Каждый чувствовал себя владельцем тайного и нетронутого сокровища. Не было проблемы — личной или мировой, для

[124] Примечания: 124

…пропавшие труды Тацита. — Из «Анналов» Тацита не дошли книги VII–X и некоторые части других. *(Прим. Б. Дубин)*

которой не нашлось бы убедительного решения в каком-либо из шестигранников. Вселенная обрела смысл, вселенная стала внезапно огромной, как надежда. В это время много говорилось об Оправданиях[125]: книгах апологии и пророчеств, которые навсегда оправдывали деяния каждого человека во вселенной и хранили чудесные тайны его будущего. Тысячи жаждущих покинули родные шестигранники и устремились вверх по лестницам, гонимые напрасным желанием найти свое оправдание. Эти пилигримы до хрипоты спорили в узких галереях, изрыгали черные проклятия, душили друг друга на изумительных лестницах, швыряли в глубину туннелей обманувшие их книги, умирали, сброшенные с высоты жителями отдаленных областей. Некоторые сходили с ума… Действительно, Оправдания существуют (мне довелось увидеть два, относившихся к людям будущего, возможно не вымышленным), но те, кто пустился на поиски, забыли, что для человека вероятность найти свое Оправдание или какой-то его искаженный вариант равна нулю.

---

[125] Примечания: 125

…много говорилось об Оправданиях… — Наряду с Опровержениями, любимый жанр самого Борхеса («Оправдание каббалы», «Оправдание Марка Твена» и др.). *(Прим. Б. Дубин)*

Еще в то же время все ждали раскрытия главных тайн человечества: происхождения Библиотеки и времени. Возможно, эти тайны могут быть объяснены так: если недостаточно будет языка философов, многообразная Библиотека создаст необходимый, ранее не существовавший язык, словари и грамматики этого языка.

Вот уже четыреста лет, как люди рыщут по шестигранникам… Существуют искатели официальные, *инквизиторы.* Мне приходилось видеть их при исполнении обязанностей: они приходят, всегда усталые, говорят о лестнице без ступенек, на которой чуть не расшиблись, толкуют с библиотекарем о галереях и лестницах, иногда берут и перелистывают ближайшую книгу в поисках нечестивых слов. Видно, что никто не надеется найти что-нибудь.

На смену надеждам, естественно, пришло безысходное отчаяние. Мысль, что на какой-то полке в каком-то шестиграннике скрываются драгоценные книги и что эти книги недосягаемы, оказалась почти невыносимой. Одна богохульная секта призывала всех бросить поиски и заняться перетасовкой букв и знаков, пока не создадутся благодаря невероятной случайности эти канонические книги. Власти сочли нужным принять

суровые меры. Секта перестала существовать, но в детстве мне приходилось встречать стариков, которые подолгу засиживались в уборных с металлическими кубиками в запрещенном стакане, тщетно имитируя божественный произвол.

Другие, напротив, полагали, что прежде всего следует уничтожить бесполезные книги. Они врывались в шестигранники, показывали свои документы, не всегда фальшивые, с отвращением листали книги и обрекали на уничтожение целые полки. Их гигиеническому, аскетическому пылу мы обязаны бессмысленной потерей миллионов книг. Имена их преданы проклятью, но те, кто оплакивает «сокровища», погубленные их безумием, забывают о двух известных вещах. Во-первых: Библиотека огромна, и поэтому любой ущерб, причиненный ей человеком, будет ничтожно мал. Во-вторых: каждая книга уникальна, незаменима, но (поскольку Библиотека всеобъемлюща) существуют сотни тысяч несовершенных копий: книги, отличающиеся одна от другой буквою или запятой. Вопреки общепринятому мнению я считаю, что последствия деятельности Чистильщиков преувеличены страхом, который вызывали эти фанатики. Их вело безумное желание захватить книги Пур-

пурного Шестигранника: книги меньшего, чем обычно, формата, всемогущие, иллюстрированные, магические.

Известно и другое суеверие того времени: Человек Книги. На некоей полке в некоем шестиграннике (полагали люди) стоит книга, содержащая суть и краткое изложение *всех остальных:* некий библиотекарь прочел ее и стал подобен Богу. В языке этих мест можно заметить следы культа этого работника отдаленных времен. Многие предпринимали паломничество с целью найти Его. В течение века шли безрезультатные поиски. Как определить таинственный священный шестигранник, в котором Он обитает? Кем-то был предложен регрессивный метод: чтобы обнаружить книгу А, следует предварительно обратиться к книге В, которая укажет место А; чтобы разыскать книгу В, следует предварительно справиться в книге С и так до бесконечности. В таких вот похождениях я растратил и извел свои годы. Мне не кажется невероятным, что на какой-то книжной полке вселенной стоит все-

объемлющая книга[126]; молю неведомых богов, чтобы человеку — хотя бы одному, хоть через тысячи лет! — удалось найти и прочесть ее. Если почести, и мудрость, и счастье не для меня, пусть они достанутся другим. Пусть существует небо, даже если мое место в аду. Пусть я буду попран и уничтожен, но хотя бы на миг, хотя бы в одном существе твоя огромная Библиотека будет оправдана.

Безбожники утверждают, что для Библиотеки бессмыслица обычна, а осмысленность (или хотя бы всего-навсего связность) — это почти чудесное исключение. Ходят разговоры (я слышал) о горячечной Библиотеке, в которой случайные тома в беспрерывном пасьянсе превращаются в другие, смешивая и отрицая все, что утверждалось, как обезумевшее божество.

Слова эти, которые не только разоблачают беспорядок, но и служат его примером, явно обнаруживают дурной вкус и безнадежное невежество. На самом деле Библиотека включает все языковые структуры, все варианты, которые

---

[126] Примечания: 126

Повторяю, достаточно, что такая книга может существовать. Я лишь отвергаю невозможность этого. Например: ни одна книга не может быть в то же время лестницей, хотя, без сомнения, есть книги, которые оспаривают, отрицают и доказывают такую возможность, и другие, структура которых соответствует структуре лестницы.

допускают двадцать пять орфографических символов, но отнюдь не совершенную бессмыслицу. Наверное, не стоит говорить, что лучшая книга многих шестигранников, которыми я ведал, носит титул «Причесанный гром», другая называется «Гипсовая судорога» и третья — «Аксаксаксас млё»[127]. Эти названия, на первый взгляд несвязные, без сомнения, содержат потаенный или иносказательный смысл, он записан и существует в Библиотеке.

Какое бы сочетание букв, например:

d h c m r l c h t d j —

я ни написал, в божественной Библиотеке на одном из ее таинственных языков они будут содержать некий грозный смысл. А любой произнесенный слог будет исполнен сладости и трепета и на одном из этих языков означать могущественное имя Бога. Говорить — это погрязнуть в тавтологиях. Это мое сочинение — многословное и бесполезное — уже существует в одном из тридцати томов одной из пяти полок одного из бесчисленных шестигранников — так же, как и его опровержение. (Число *n* возможных

[127] Примечания: 127

«Аксаксаксас млё» — см. это звукосочетание в новелле «Тлён, Укбар, Орбис Терциус». *(Прим. Б. Дубин)*

языков использует один и тот же запас слов, в некоторых слово «библиотека» допускает верное определение: «всеобъемлющая и постоянная система шестигранных галерей», но при этом «библиотека» обозначает «хлеб», или «пирамиду», или какой-нибудь другой предмет, и шесть слов, определяющих ее, имеют другое значение. Ты, читающий эти строчки, уверен ли ты, что понимаешь мой язык?)

Привычка писать отвлекает меня от теперешнего положения людей. Уверенность, что все уже написано, уничтожает нас или обращает в призраки. Я знаю места, где молодежь поклоняется книгам и с пылом язычников целует страницы, не умея прочесть при этом ни буквы. Эпидемии, еретические раздоры, паломничества, неизбежно вырождающиеся в разбойничьи набеги, уменьшили население раз в десять. Кажется, я уже говорил о самоубийствах, с каждым годом все более частых. Возможно, страх и старость обманывают меня, но я думаю, что человеческий род — единственный — близок к угасанию, а Библиотека сохранится: освещенная, необитаемая, бесконечная, абсолютно неподвижная, наполненная драгоценными томами, бесполезная, нетленная, таинственная.

Я только что написал *бесконечная.* Это слово я поставил не из любви к риторике; думаю, вполне логично считать, что мир бесконечен. Те же, кто считает его ограниченным, допускают, что где-нибудь в отдалении коридоры, и лестницы, и шестигранники могут по неизвестной причине кончиться, — такое предположение абсурдно. Те, кто воображает его без границ, забывают, что ограничено число возможных книг. Я осмеливаюсь предложить такое решение этой вековой проблемы: *Библиотека безгранична и периодична.* Если бы вечный странник пустился в путь в каком-либо направлении, он смог бы убедиться по прошествии веков, что те же книги повторяются в том же беспорядке (который, будучи повторенным, становится порядком — Порядком). Эта изящная надежда скрашивает мое одиночество[128].

Мар-дель-Плата, 1941 г.

---

[128] Примечания: 128

Летисия Альварес де Толедо заметила, что эта огромная Библиотека избыточна: в самом деле, достаточно было бы одного тома обычного формата, со шрифтом кегля 9 или 10 пунктов, состоящего из бесконечного количества бесконечно тонких страниц. (Кавальери в начале XVII в. говорил, что твердое тело представляет собой бесконечное количество плоскостей.) Этот шелковистый вадемекум был бы неудобен в обращении: каждая страница как бы раздваивалась на другие такие же, а непостижимая страница в середине не имела бы оборотной стороны.
[*Летисия Альварес де Толедо* — аргентинка, знакомая Борхеса. *(Прим. Б. Дубин)*]

Перевод В. Кулагиной-Ярцевой

Сад расходящихся тропок[129]

Виктории Окампо

На двадцать второй странице «Истории мировой войны» Лиддел Гарта сообщается, что предполагавшееся на участке Сер-Монтобан двадцать четвертого июля 1916 года наступление тринадцати британских дивизий (при поддержке тысячи четырехсот орудий) пришлось отложить до утра двадцать девятого. По мнению капитана Лиддел Гарта[130], эта сама по себе незначительная отсрочка была вызвана сильными дождями. Нижеследующее заявление, продиктованное, прочитанное и подписанное доктором Ю Цуном[131], бывшим преподавателем английского языка в Hochschule[132] города Циндао, проливает

---

[129] Примечания: 129

В 1983 г. по новелле снят фильм Александра Кайдановского «Сад». *(Прим. Б. Дубин)*

[130] Примечания: 130

Лиддел Гарт — с почерпнутыми в его труде историческими реалиями Борхес обходится в рассказе достаточно вольно. *(Прим. Б. Дубин)*

[131] Примечания: 131

Ю Цун — имя героя взято из упоминаемого в новелле романа Цао Сюэциня. *(Прим. Б. Дубин)*

[132] Примечания: 132

Высшая школа *(нем.)*.

на случившееся неожиданный свет. В начале текста недостает двух страниц.

«…я повесил трубку. И тут же узнал голос, ответивший мне по-немецки. Это был голос капитана Ричарда Мэддена[133]. Мэдден — на квартире у Виктора Рунеберга! Значит, конец всем нашим трудам, а вместе с ними — но это казалось или *должно было казаться* мне второстепенным — и нам самим. Значит, Рунеберг арестован или убит[134]. Солнце не зайдет, как та же участь постигнет и меня. Мэдден не знает снисхождения. А точнее, вынужден не знать. Ирландец на службе у англичан, человек, которого обвиняли в недостатке рвения, а то и в измене, — мог ли он упустить такой случай и не возблагодарить судьбу за эту сверхъестественную милость: раскрытие, поимку, даже, вероятно, ликвидацию двух агентов Германской империи? Я поднялся к себе, зачем-то запер дверь на ключ и вытянулся

---

[133] Примечания: 133

Мэдден — эту фамилию берет себе в одном из эпизодов герой романа Р. Л. Стивенсона «Мародер» (1892), скрывающийся от правосудия; кроме того, Борхес наверняка смотрел фильм своего любимого режиссера Дж. фон Штернберга «Сержант Мэдден» (1939). *(Прим. Б. Дубин)*

[134] Примечания: 134

Нелепый и сумасбродный домысел. Прусский агент Ганс Рабенер, он же Виктор Рунеберг, бросился с пистолетом на капитана Ричарда Мэддена, явившегося к нему с ордером на арест. При самозащите капитан ранил Рунеберга, что и повлекло за собой смерть последнего. *(Примеч. изд.)*

на узкой железной койке. За окном были всегдашние крыши и тусклое солнце шести часов вечера. Казалось невероятным, что этот ничем не примечательный и ничего не предвещавший день станет днем моей неотвратимой смерти. Я, оставшийся без отца, я, игравший ребенком в симметричном хайфынском садике, вот сейчас умру. Но тут я подумал, что ведь и все на свете к чему-то приводит сейчас, именно сейчас. Века проходят за веками, но лишь в настоящем что-то действительно совершается: столько людей в воздухе, на суше и на море, но единственное, что происходит на самом деле, — это происходящее со мной. Жуткое воспоминание о лошадином лице Мэддена развеяло мои умствования. С чувством ненависти и страха (что мне стоит признаться теперь в своем страхе: теперь, когда я перехитрил Ричарда Мэддена и жду, чтобы меня скорей повесили) я подумал: а ведь этот грубый и, должно быть, упивающийся счастьем солдафон и не подозревает, что я знаю Тайну — точное название места в долине Анкра, где расположен новый парк британской артиллерии. По серому небу черкнула птица и представилась мне самолетом, роем самолетов над Францией, громящих своими бомбами артиллерийский парк. О, если

бы раньше, чем рот мне разнесет пулей, я смог выкрикнуть это известие так, чтобы его расслышали в Германии… Мой человеческий голос был слишком слаб. Как сделать, чтобы он дошел до слуха шефа? До слуха этого слабогрудого, ненавистного человечка, который только и знает обо мне и Рунеберге, что мы в Стаффордшире[135], и понапрасну ждет от нас известий в своем унылом берлинском кабинете, день за днем изучая газеты… „Бежать“, — подумал я вслух. Я бесшумно поднялся, стараясь двигаться так тихо, словно Мэдден уже подстерегал меня. Что-то — наверно, простое желание убедиться в ничтожности своих ресурсов — подтолкнуло меня осмотреть карманы. Там нашлось только то, что я и думал найти. Американские часы, никелированная цепочка с квадратной монетой, связка уличающих и уже бесполезных ключей от квартиры Рунеберга, записная книжка, письмо, которое я собрался тут же уничтожить, но так и не уничтожил, крона, два шиллинга и несколько пенсов, красно-синий карандаш, платок, револьвер с одной пулей. Я зачем-то сжал его и, придавая себе решимости,

[135] Примечания: 135

Стаффордшир — центр одноименного графства в Англии, здесь родилась Фрэнсис (Фанни) Хейзлем Арнет (1842–1935), бабушка Борхеса со стороны отца. *(Прим. Б. Дубин)*

взвесил в руке. Тут у меня мелькнула смутная мысль, что выстрел услышат издалека. Через десять минут план был готов. По телефонному справочнику я разыскал имя единственного человека, способного передать мое известие: он жил в предместье Фэнтона, с полчаса езды по железной дороге.

Я не из храброго десятка. Могу сознаться в этом сейчас — сейчас, когда довел до конца замысел, который вряд ли сочтут смелым. Но я-то знаю: его осуществление было ужасно. И сделал я это не ради Германии, вовсе нет. Я ничуть не дорожу этой варварской страной, принудившей меня опуститься до шпионажа. И потом, я знал в Англии одного человека, простого человека, который значит для меня не меньше Гёте. Я с ним и часа не проговорил, но в тот час он был равен самому Гёте… Так вот, я исполнил свой замысел потому, что чувствовал: шеф презирает людей моей крови — тех бесчисленных предков, которые слиты во мне. Я хотел доказать ему, что желтолицый может спасти германскую армию. И наконец, мне надо было бежать от капитана. Его голос и кулачища могли вот-вот загреметь за дверью. Я бесшумно оделся, на прощанье кивнул зеркалу, спустился, оглядел улочку и вышел. Станция бы-

ла неподалеку, но я предпочел воспользоваться кебом. Убедил себя, будто так меньше рискую быть узнанным на пустынной улице: мне казалось, что я отовсюду заметен и абсолютно не защищен. Помню, я велел кебмену остановиться, не доезжая до центрального входа в вокзал, и сошел с нарочитой, мучительной неторопливостью. Ехал я до местечка под названием Эшгроув, но билет взял до более дальней станции. Поезд отправлялся через несколько минут, в восемь пятьдесят. Я ускорил шаг: следующий отходил только в половине десятого. Перрон был почти пуст. Я прошел по вагонам: помню нескольких фермеров, женщину в трауре, юношу, углубившегося в Тацитовы „Анналы“, забинтованного и довольного солдата. Вагоны наконец дернулись. Человек, которого я не мог не узнать, слишком поздно добежал до конца перрона. Это был капитан Ричард Мэдден. Уничтоженный, дрожащий, я скорчился на краю сиденья, подальше от страшного окна.

Но сознание собственного ничтожества скоро перешло в какую-то утробную радость. Я сказал себе, что поединок завязался и я выиграл первую схватку, пусть лишь на сорок минут, пусть милостью случая опередив нападающего

противника. Я уверил себя, что эта маленькая победа предвещает окончательную. Уверил себя, что она не так уж мала: не подари мне расписание поездов бесценного разрыва во времени, я был бы теперь за решеткой, а то и мертв. Подобными же софизмами я внушил себе, что моя удачливость труса доказывает, будто я способен довести предприятие до благополучного конца. В этой слабости я почерпнул силы, не покинувшие меня позднее. Я предвижу время, когда людей принудят исполнять день за днем и более чудовищные замыслы; скоро на свете останутся одни вояки и головорезы. Мой им совет: *исполнитель самого чудовищного замысла должен вообразить, что уже осуществил его, должен сделать свое будущее непреложным, как прошлое.* Так я и поступил, а в моих глазах — глазах мертвеца — тем временем отражалось течение, возможно, последнего в моей жизни дня и медленное смешение его с ночью. Поезд мягко бежал мимо ясеней, потом остановился, казалось, — прямо в поле. Названия станции никто не объявил. „Это Эшгроув?“ — спросил я у мальчишек на перроне. „Эшгроув“, — отозвались они. Я сошел.

Платформу освещал фонарь, но лица ребят оставались в темноте. Один из них спросил: „Вам

к дому доктора Стивена Альбера?“ Другой сказал, не дожидаясь ответа: „До дома неблизко, но вы не заблудитесь: ступайте вот этой дорогой налево и сворачивайте влево на каждой развилке“. Я бросил им последнюю монету, спустился по каменным ступенькам и вышел на безлюдную дорогу. Она полого вела вниз. Колея была грунтовая, над головой сплетались ветки, низкая полная луна словно провожала меня.

На миг мне показалось, будто Ричард Мэдден как-то догадался о моем отчаянном плане. Но я тут же успокоил себя, что это невозможно. Указание сворачивать всякий раз налево напомнило мне, что таков общепринятый способ отыскивать центральную площадку в некоторых лабиринтах. В лабиринтах я кое-что понимаю: не зря же я правнук того Цюй Пэна, что был правителем Юньнани и отрекся от бренного могущества, чтобы написать роман, который превзошел бы многолюдьем „Сон в красном тереме“, и создать лабиринт, где заблудился бы каждый. Тринадцать лет посвятил он двум этим трудам, пока не погиб от руки чужеземца, однако роман его остался сущей бессмыслицей, а лабиринта так и не нашли. Под купами английских деревьев я замечтался об этом утраченном лабиринте:

нетронутый и безупречный, он представился мне стоящим на потаенной горной вершине, затерявшимся среди рисовых полей или в глубинах вод, беспредельным — не просто с восьмигранными киосками и дорожками, ведущими по кругу, но с целыми реками, провинциями, государствами. Я подумал о лабиринте лабиринтов, о петляющем и растущем лабиринте, который охватывал бы прошедшее и грядущее и каким-то чудом вмещал всю вселенную. Поглощенный призрачными образами, я забыл свою участь беглеца и, потеряв ощущение времени, почувствовал себя самим сознанием мира. Я попросту воспринимал это смутное, живущее своей жизнью поле, луну, последние отсветы заката и мягкий спуск, отгонявший даже мысль об усталости. Вечер стоял задушевный, бескрайний. Дорога сбегала и ветвилась по уже затуманившимся лугам. Высокие, будто скандируемые ноты то вдруг наплывали, то вновь отдалялись с колыханием ветра, скраденные листвой и расстоянием. Я подумал, что врагами человека могут быть только люди, люди той или иной земли, но не сама земля с ее светляками, звуками ее языка, садами, водами, закатами. Тем временем я вышел к высоким поржавелым воротам. За прутьями угадывалась

аллея и нечто вроде павильона. И тут я понял: музыка доносилась отсюда, но что самое невероятное — она была китайская. Поэтому я и воспринимал ее не задумываясь, безотчетно. Не помню, был ли у ворот колокольчик, звонок или я просто постучал. Мелодия все переливалась.

Но из дома за оградой показался фонарь, в луче которого стволы то выступали из тьмы, то снова отшатывались, бумажный фонарь цвета луны и в форме литавр. Нес его рослый мужчина. Лица я не разглядел, поскольку свет бил мне в глаза. Он приоткрыл ворота и медленно произнес на моем родном языке:

— Я вижу, благочестивый Си Пэн почел своим долгом скрасить мое уединение. Наверное, вы хотите посмотреть сад?

Он назвал меня именем одного из наших посланников, и я в замешательстве повторил за ним:

— Сад?

— Ну да, сад расходящихся тропок.

Что-то всколыхнулось у меня в памяти, и с необъяснимой уверенностью я сказал:

— Это сад моего прадеда Цюй Пэна.

— Вашего прадеда? Так вы потомок этого прославленного человека? Прошу.

Сырая дорожка вилась, как тогда, в саду моего детства. Мы вошли в библиотеку с книгами на восточных и европейских языках. Я узнал несколько переплетенных в желтый шелк рукописных томов Утраченной Энциклопедии, изданием которой ведал Третий Император Лучезарной Династии и которую так и не отпечатали. Граммофон с крутящейся пластинкой стоял возле бронзового феникса. Помню еще вазон розового фарфора и другой, много древнее, того лазурного тона, который наши мастера переняли у персидских горшечников…

Стивен Альбер с улыбкой наблюдал за мной. Был он, как я уже говорил, очень рослый, с тонким лицом, серыми глазами и поседевшей бородой. Чудилось в нем что-то от пастора и в то же время от моряка; уже потом он рассказал мне, что был миссионером в Тенчуне, „пока не увлекся китаистикой“.

Мы сели: я — на длинную приземистую кушетку, а он — устроившись между окном и высокими круглыми часами. Я высчитал, что по крайней мере в ближайший час мой преследователь Ричард Мэдден сюда не явится. С непреложным решением можно было повременить.

— Да, судьба Цюй Пэна воистину поразитель-

на, — начал Стивен Альбер. — Губернатор своей родной провинции, знаток астрономии и астрологии, неустанный толкователь канонических книг, блистательный игрок в шахматы, прославленный поэт и каллиграф, он бросил все, чтобы создать книгу и лабиринт. Он отрекся от радостей деспота и законодателя, от бесчисленных наложниц, пиров, даже от всех своих познаний и на тринадцать лет затворился в Павильоне Неомраченного Уединения. После его смерти наследники не обнаружили там ничего, кроме груды черновиков. Семья, как вам, конечно же, известно, намеревалась предать их огню, но его душеприказчик-монах — то ли даос, то ли буддист — настоял на публикации.

— Мы, потомки Цюй Пэна, — вставил я, — до сих пор проклинаем этого монаха. Он опубликовал сущую бессмыслицу. Эта книга попросту невразумительный ворох разноречивых набросков. Как-то я проглядывал ее: в третьей главе герой умирает, в четвертой — он снова жив. А что до другого замысла Цюй Пэна, его лабиринта…

— Этот лабиринт — здесь, — уронил Альбер, кивнув на высокую лаковую конторку.

— Игрушка из слоновой кости! — воскликнул я. — Лабиринт в миниатюре…

— Лабиринт символов, — поправил он. — Незримый лабиринт времени. Мне, варвару-англичанину, удалось разгадать эту нехитрую тайну. Через сто с лишним лет подробностей уже не восстановишь, но можно предположить, что произошло. Видимо, однажды Цюй Пэн сказал: „Я ухожу, чтобы написать книгу“, а в другой раз: „Я ухожу, чтобы построить лабиринт“. Всем представлялись две разные вещи; никому не пришло в голову, что книга и лабиринт — одно и то же. Павильон Неомраченного Уединения стоял в центре сада, скорее всего запущенного; должно быть, это и внушило мысль, что лабиринт материален. Цюй Пэн умер; никто в его обширных владениях на лабиринт не натолкнулся; сумбурность романа навела меня на мысль, что это и есть лабиринт. Верное решение задачи мне подсказали два обстоятельства: первое — любопытное предание, будто Цюй Пэн задумал поистине бесконечный лабиринт, а второе — отрывок из письма, которое я обнаружил.

Альбер поднялся. На миг он стал ко мне спиной и выдвинул ящик черной с золотом конторки. Потом он обернулся, держа листок бумаги, когда-то алой, а теперь уже розоватой, истончившейся и потертой на сгибах. Слава Цюй Пэна-каллиграфа

была заслуженной. С недоумением и дрожью вчитался я в эти слова, которые тончайшей кисточкой вывел некогда человек моей крови: *„Оставляю разным (но не всем) будущим временам мой сад расходящихся тропок“.* Я молча вернул листок. Альбер продолжал:

— Еще не докопавшись до этого письма, я спрашивал себя, как может книга быть бесконечной. В голову не приходило ничего, кроме циклического, идущего по кругу тома, тома, в котором последняя страница повторяет первую, что и позволяет ему продолжаться сколько угодно. Вспомнил я и ту ночь на середине „Тысячи и одной ночи“, когда царица Шахразада, по чудесной оплошности переписчика, принимается дословно пересказывать историю „Тысячи и одной ночи“, рискуя вновь добраться до той ночи, когда она ее пересказывает, и так до бесконечности. Еще мне представилось произведение в духе платоновских „идей“ — его замысел передавался бы по наследству, переходя из поколения в поколение, так что каждый новый наследник добавлял бы к нему свою положенную главу или со смиренной заботливостью правил страницу, написанную предшественниками. Эти выдумки тешили меня, но ни одна из них, очевидно, не

имела даже отдаленного касательства к разноречивым главам Цюй Пэна. Теряясь в догадках, я получил из Оксфорда письмо, которое вы видели. Естественно, я задумался над фразой: *„Оставляю разным (но не всем) будущим временам мой сад расходящихся тропок“*. И тут я понял, что бессвязный роман и был „садом расходящихся тропок“, а слова „разным (но не всем) будущим временам“ натолкнули меня на мысль о развилках во времени, а не в пространстве. Бегло перечитав роман, я утвердился в этой мысли. Стоит герою любого романа очутиться перед несколькими возможностями, как он выбирает одну из них, отметая остальные; в неразрешимом романе Цюй Пэна он выбирает все разом. Тем самым он творит различные будущие времена, которые в свою очередь множатся и ветвятся. Отсюда и противоречия в романе. Скажем, Фан владеет тайной; к нему стучится неизвестный; Фан решает его убить. Есть, видимо, несколько вероятных исходов: Фан может убить незваного гостя; гость может убить Фана; оба могут уцелеть; оба могут погибнуть и так далее. Так вот, в книге Цюй Пэна реализуются все эти исходы, и каждый из них дает начало новым развилкам. Иногда тропки этого лабиринта пересекаются: вы, например, явились

ко мне, но в каком-то из возможных вариантов прошлого вы — мой враг, а в ином — друг. Если вы извините мое неисправимое произношение, мы могли бы прочесть несколько страниц.

При ярком свете лампы лицо его было совсем старческим, но проступало в нем и что-то несокрушимое, даже вечное. Медленно и внятно он прочитал два варианта одной эпической главы. В первом из них воины идут в бой по пустынному нагорью. Под страхом обвала, среди ночного мрака жизнь немногого стоит, они не думают о себе и без труда одерживают победу. Во втором те же воины проходят по дворцу, где в разгаре праздник; огни боя кажутся им продолжением праздника, и они снова одерживают победу.

Я с надлежащей почтительностью слушал древние истории. Но, пожалуй, куда удивительнее их самих было то, что они придуманы когда-то моим предком, а воскрешены для меня теперь, во время моей отчаянной авантюры, на острове в другом конце света, человеком из далекой империи. Помню заключительные слова, повторявшиеся в обоих вариантах как тайная заповедь: *„Так, с ярыми клинками и спокойствием в несравненных сердцах, сражались герои, готовые убить и умереть“.*

Тут я почувствовал вокруг себя и в самом себе какое-то незримое бесплотное роение. Не роение расходящихся, марширующих параллельно и в конце концов сливающихся войск, но более неуловимое, более потаенное движение, чьим смутным прообразом были они сами. Стивен Альбер продолжал:

— Не думаю, чтобы ваш прославленный предок попросту забавлялся на досуге подобными вариациями. Посвятить тринадцать лет бесконечному риторическому эксперименту — это выглядит малоправдоподобно. Роман в вашей стране — жанр невысокого пошиба, а в те времена и вовсе презираемый. Конечно, Цюй Пэн — замечательный романист, но сверх того он был литератором, который навряд ли считал себя обыкновенным романистом. Свидетельства современников — а они подтверждаются всей его жизнью — говорят о метафизических, мистических устремлениях Цюй Пэна. Философские контроверзы занимают немалое место и в его романе. Я знаю, что ни одна из проблем не волновала и не мучила его так, как неисчерпаемая проблема времени. И что же? Это единственная проблема, не упомянутая им на страницах „Сада“. Он даже ни разу не употребляет слово „время“. Как вы объясните это упорное

замалчивание?

Я предложил несколько гипотез — все до одной неубедительные. Мы взялись обсуждать их; наконец Стивен Альбер спросил:

— Какое единственное слово недопустимо в шараде с ключевым словом „шахматы“?

Я секунду подумал и сказал:

— Слово „шахматы“.

— Именно, — подхватил Альбер. — „Сад расходящихся тропок“ и есть грандиозная шарада, притча, ключ к которой — время; эта скрытая причина и запрещает о нем упоминать. А постоянно чураться какого-то слова, прибегая к неуклюжим метафорам и нарочитым перифразам, — это и есть, вероятно, самый выразительный способ его подчеркнуть. Такой окольный путь и предпочел уклончивый Цюй Пэн на каждом повороте своего нескончаемого романа. Я сличил сотни рукописей, выправил ошибки, занесенные в текст нерадивыми переписчиками, вроде бы упорядочил этот хаос, придал — надеюсь, что придал, — ему задуманный вид, перевел книгу целиком — и убедился: слово „время“ не встречается в ней ни разу. Отгадка очевидна: „Сад расходящихся тропок“ — это недоконченный, но и не искаженный образ мира, каким его видел

Цюй Пэн. В отличие от Ньютона и Шопенгауэра[136] ваш предок не верил в единое, абсолютное время. Он верил в бесчисленность временных рядов, в растущую, головокружительную сеть расходящихся, сходящихся и параллельных времен. И эта канва времен, которые сближаются, ветвятся, перекрещиваются или век за веком так и не соприкасаются, заключает в себе все мыслимые возможности. В большинстве этих времен мы с вами не существуем; в каких-то существуете вы, а я — нет; в других есть я, но нет вас; в иных существуем мы оба. В одном из них, когда счастливый случай выпал мне, вы явились в мой дом; в другом — вы, проходя по саду, нашли меня мертвым; в третьем — я произношу эти же слова, но сам я — мираж, призрак.

— В любом времени, — выговорил я не без дрожи, — я благодарен и признателен вам за воскрешение сада Цюй Пэна.

— Не в любом, — с улыбкой пробормотал он. — Вечно разветвляясь, время ведет к неисчислимым вариантам будущего. В одном из них

---

[136] Примечания: 136

В отличие от Ньютона и Шопенгауэра… — В более позднем эссе «Новое опровержение времени» Борхес указал свои источники: «Математические начала натуральной философии» Ньютона (III, 42) и «Мир как воля и представление» Шопенгауэра (II, 4). *(Прим. Б. Дубин)*

я — ваш враг.

Я снова ощутил то роение, о котором уже говорил. Мне почудилось, будто мокрый сад вокруг дома полон бесчисленных призрачных людей. Это были Альбер и я, только незнакомые, умноженные и преображенные другими временными измерениями. Я поднял глаза, бесплотный кошмар рассеялся. В изжелта-черном саду я увидел лишь одного человека, но этот человек казался несокрушимым, как статуя, и приближался к нам по дорожке, и был капитаном Ричардом Мэдденом.

— Будущее уже на пороге, — возразил я, — и все же я — ваш друг. Позвольте мне еще раз взглянуть на письмо.

Альбер поднялся во весь рост. Он выдвинул ящик высокой конторки и на миг стал ко мне спиной. Мой револьвер был давно наготове. Я выстрелил, целясь как можно тщательнее: Альбер упал тут же, без единого стона. Клянусь, его смерть была мгновенной, как вспышка.

Остальное уже нереально и не имеет значения. Ворвался Мэдден, я был арестован. Меня приговорили к повешению. Как ни ужасно, я победил: передал в Берлин название города, где нужно было нанести удар. Вчера его разбомбили: я про-

читал об этом в газетах, известивших Англию о загадочном убийстве признанного китаиста Стивена Альбера, которое совершил некий Ю Цун. Шеф справился с этой загадкой. Теперь он знает, что вопрос для меня был в том, как сообщить ему о городе под названием Альбер, и что мне, среди грохота войны, оставалось одно — убить человека, носящего это имя. Он только не знает — и никому не узнать, — как неизбывны моя боль и усталость».

Перевод Б. Дубина

Выдумки

Предисловие

Произведения, включенные в эту книгу, если и исполнены, чуть менее неуклюже и грубо, все же не слишком отличаются от тех, что составляют предыдущую. Быть может, два из них заслуживают скупого комментария: «Смерть и буссоль» и «Фунес, чудо памяти». Второй из этих рассказов представляет собой разросшуюся метафору бессонницы. Действие первого, несмотря на германские и скандинавские имена персонажей, разворачивается в Буэнос-Айресе — неком Буэнос-Айресе из сновидений: извилистая Рю-де-Тулон — Пасео де Хулио; вилла «Трист-ле-Руа», отель, где Герберт Эш обрел, вероятнее всего, так и не прочитанный им Одиннадцатый Том иллюзорной энциклопедии. Уже отредактировав этот текст, я вдруг подумал о том, что было бы вполне разумным расширить охватываемые им время и пространство: месть могла бы передаваться по наследству из поколения в поколение, назначенные сроки — исчисляться годами, если не столетиями. Первая буква Имени могла быть произнесена в Исландии, вторая — в Мексике, третья — где-нибудь на Индостане. Может быть,

мне стоит добавить, что в хасиды принимали лишь святых, а четырехкратное человеческое жертвоприношение с целью обретения четырех букв, составляющих Имя, — не более чем вымысел, легенда, подсказавшая мне форму моего повествования?

Буэнос-Айрес, 29 августа 1944 г.

Постскриптум 1956 года. К этой серии я решил прибавить еще три рассказа: «Юг», «Секта Феникса», «Конец». За исключением одного персонажа — Рекабаррена, — чья статичность и пассивность служат для создания контраста, ничего или почти ничего не было привнесено мною в краткую цепочку событий, разворачивающихся в последнем из них: все, что в нем есть, находится в скрытом виде в одной очень известной книге[137], и я оказался первым если не в том, чтобы извлечь оттуда то, что требуется, то хотя бы в том, чтобы открыто заявить об этом. Аллегория Феникса позволила мне взяться за проблему намека, обозначения некой общей Тайны тем неверным, медленным и постепенным способом, который в конце концов оказывается единственно безошибочным. Насколько удача сопутствовала мне в этом деле — я

[137] Примечания: 137

…находится… в одной очень известной книге… — Имеется в виду поэма Х. Эрнандеса «Мартин Фьерро». *(Прим. Б. Дубин)*

не знаю. Что касается «Юга», быть может лучшего моего рассказа, — я ограничусь лишь одним предупреждением: его можно читать как простое описательное повествование неких событий, а можно — и по-другому.

Шопенгауэр, Де Куинси, Стивенсон, Маутнер, Шоу, Честертон, Леон Блуа — вот тот разношерстный список авторов, чьи произведения я не устаю перечитывать. В фантазии на темы богословия, озаглавленной «Три версии предательства Иуды», я полагаю, можно будет проследить опосредованное влияние последнего из них.

Х. Л. Б.

Перевод В. Андреева

Фунес, чудо памяти[138]

Я его помню (я не вправе произносить это священное слово, лишь один человек на земле имел на это право, и человек тот скончался) с темным цветком страстоцвета в руке, видящим цветок так, как никто другой не увидит, хоть смотри на него с утренней зари до ночи всю жизнь. Помню его бесстрастное индейское лицо, странно далекое за белеющей сигаретой. Помню (так мне кажется) его тонкие руки с гибкими пальцами. Помню рядом с этими руками — мате с гербом Восточного берега, помню на окне желтую циновку с каким-то озерным пейзажем. Отчетливо помню его голос — неспешный, неприязненный, с носовым тембром, голос исконного сельского уроженца, без нынешних итальянских свистящих. Видел я его не более трех раз, последний — в 1887 году… Я нахожу очень удачным замысел, чтобы все, кто с ним встречался, написали о нем; мое свидетельство, возможно, будет самым

---

[138] Примечания: 138

Замысел новеллы, опубликованной в 1942 г., рассказан Борхесом за год до этого в заметке «Отрывок о Джойсе», что наталкивает исследователей на сопоставление заглавного героя с автором «Улисса». *(Прим. Б. Дубин)*

кратким и наверняка самым скудным, однако по беспристрастию не уступит остальным в книге, которую вы издадите. Будучи жалким аргентинцем, я неспособен расточать дифирамбы — жанр обязательный в Уругвае, когда темой является уругваец. «Писателишка», «столичный франт», «щелкопер»! Фунес не произнес этих оскорбительных слов, но для меня совершенно очевидно, что в его глазах я был представителем этого ничтожного сорта людей. Педро Леандро Ипуче[139] писал, что Фунес был предшественником сверхчеловека: «Некий самородный, доморощенный Заратустра»; спорить не стану, но не надо забывать, что Ипуче — его земляк из Фрай-Бентоса и страдает неисправимой ограниченностью.

Первое мое воспоминание о Фунесе очень четкое. Я вижу его в сумерках мартовского или февральского дня восемьдесят четвертого года. В том году отец повез меня на лето в Фрай-Бентос. Вместе с кузеном Бернардо Аэдо мы возвращались из усадьбы Сан-Франсиско. Ехали верхом, распевая песни, но не только это было причиной моего счастливого настроения. После душного дня небо закрыла огромная грозовая туча аспид-

[139] Примечания: 139

Педро Леандро Ипуче (1889–1976) — уругвайский прозаик; эссе Борхеса о нем (1924) вошло в книгу «Расследования». *(Прим. Б. Дубин)*

ного цвета. Ее подгонял южный ветер, деревья уже буйствовали; я боялся (и надеялся), что проливной дождь застанет нас в открытой степи. Мы как бы гнались взапуски с грозой. Вскоре мы скакали по улочке, пролегавшей между двух очень высоко поднятых кирпичных тротуаров. Вдруг стемнело, я услыхал наверху быстрые и словно крадущиеся шаги; я поднял глаза и увидел парня, бежавшего по узкому красному тротуару, как по узкой красной стене. Помню шаровары, альпаргаты, помню сигарету, белевшую на жестком лице, — и все это на фоне уже безгранично огромной тучи. Бернардо неожиданно окликнул его: «Который там час, Иренео?» Не взглянув на небо, не останавливаясь, тот ответил: «Без четырех минут восемь, дружок Бернардо Хуан Франсиско». Голос был высокий, насмешливый.

Я человек рассеянный, и вышеприведенный диалог не привлек бы моего внимания, если бы кузен не повторял его потом, движимый (как я полагаю) своего рода местным патриотизмом и желанием показать полное свое безразличие к насмешливому величанию его всеми тремя именами.

Он рассказал, что повстречавшийся нам парень — это Иренео Фунес, известный своими

странностями — например, тем, что он ни с кем не дружит и всегда точно знает, который час, как по часам. Он добавил, что Фунес сын здешней гладильщицы Марии Клементины Фунес и что одни говорят, будто его отец — врач с солильни, англичанин О'Коннор, а другие называют укротителя лошадей или мясника из департамента Сальто. Живет он со своей матерью на окраине, за усадьбой «Лавры».

В годы восемьдесят пятый и восемьдесят шестой мы проводили лето в Монтевидео. В восемьдесят седьмом снова поехали в Фрай-Бентос. Я, естественно, стал расспрашивать о всех своих знакомых и наконец дошел до «хронометрического Фунеса». Мне ответили, что его сбросил наземь необъезженный конь в усадьбе Сан-Франсиско и теперь он парализован — похоже, навсегда. Вспоминаю странное ощущение чего-то магического при этой вести: единственный раз, когда я его видел, мы ехали на лошадях из Сан-Франсиско, а он бежал поверху; сам факт, сообщенный устами кузена Бернардо, очень походил на сон, сложившийся из уже прожитых фрагментов. Мне сказали, что Фунес не встает с постели, все лежит и глядит на кактус во дворе или на какую-нибудь паутину. Вечером он разрешает подвинуть себя

к окну. Гордыня его доходит до того, что он притворяется, будто постигшая его беда оказалась для него благотворной… Я дважды видел его за оконной решеткой, которая словно подчеркивала его положение вечного узника; в первый раз он сидел неподвижно с закрытыми глазами; во второй тоже был неподвижен, но сосредоточенно смотрел на душистый стебель сантонины.

В то время я не без доли тщеславия взялся за систематические занятия латынью. В моем чемодане лежали «De viris illustribus»[140] Ломона[141], «Thesaurus»[142] Кишера, «Комментарии» Юлия Цезаря и один из томов «Naturalis historia»[143] Плиния, превосходивший (и сейчас превосходящий) мои скромные возможности в латинском. В маленьком городке все становится известно; Иренео, на своем отдаленном ранчо, не замедлил узнать о прибытии этих необыкновенных книг.

---

[140] Примечания: 140

«О знаменитых мужах» *(лат.).*

[141] Примечания: 141

Шарль-Франсуа Ломон (1727–1794) — французский латинист, составитель пособия для изучающих латынь «О знаменитых римских мужах от Ромула до Августа» (1775). *(Прим. Б. Дубин)*

[142] Примечания: 142

«Сокровищница» *(лат.).*

[143] Примечания: 143

«Естественная история» *(лат.).*

Он прислал мне торжественное, цветистое письмо, в котором упоминал о нашей встрече — к сожалению, мимолетной — «седьмого февраля восемьдесят четвертого года», восхвалял достославные услуги, которые мой дядя, дон Грегорио Аэдо, скончавшийся в том же году, «оказал обеим родинам в своем отважном путешествии в Итусаинго», и просил меня одолжить ему какую-нибудь из книг вместе со словарем, «чтобы я мог понять оригинальный текст, потому что латинского я пока не знаю». Он обещал возвратить книги в хорошем состоянии и очень скоро. Почерк был великолепный, очень четкий; орфография того типа, за который ратовал Андрес Бельо[144]: *i* вместо *y, j* вместо *g.* Сперва я, естественно, испугался, что это издевка. Мои кузены уверили меня, что нет, что это вполне в духе Иренео. Я не знал, чему приписать — наглости, невежеству или глупости — его идею, что труднейший латинский язык не требует ничего, кроме словаря; дабы вполне рассеять его иллюзии, я послал ему «Gradus ad

[144] Примечания: 144

Андрес Бельо (1781–1865) — венесуэльский поэт, ученый-просветитель, автор трудов по грамматике и орфографии испанского языка. *(Прим. Б. Дубин)*

Parnassum»[145] Кишера и книгу Плиния.

Четырнадцатого февраля мне телеграфировали из Буэнос-Айреса, чтобы я немедленно приехал, так как мой отец чувствует себя «не очень хорошо». Да простит меня Бог, но тщеславное сознание, что срочная телеграмма адресована мне, желание поведать всему Фрай-Бентосу, что мягкая ее формулировка не согласуется со смыслом этих двух наречий, соблазн драматизировать свою скорбь, изображая мужественный стоицизм, вероятно, помешали мне почувствовать настоящее горе. Укладывая чемодан, я заметил, что не хватает «Gradus» и первого тома «Naturalis historia». «Сатурн» должен был отчалить утром следующего дня, и я вечером, после ужина, отправился к Фунесу. Меня удивило, что духота ночью была не меньшая, чем днем.

На чистеньком ранчо меня встретила мать Фунеса.

Она сказала, что комната Иренео — в глубине дома и чтобы я не удивлялся, если там будет темно; Иренео, сказала она, часами не зажигает свечу. Я прошел мощенный каменными плитами патио и по небольшому коридору вышел во

---

[145] Примечания: 145
«Ступень к Парнасу» *(лат.)*.

второй патио. По стенам вился виноград, темнота показалась мне полной. Вдруг я услышал высокий, насмешливый голос Иренео. Голос этот произносил латинские фразы с угрюмым удовольствием, голос этот (исходивший из мрака) декламировал не то речь, не то молитву, не то гимн. В немощеном патио звучали латинские слова, моему страху они показались непонятными, нескончаемыми; позже, в нескончаемо долгом разговоре этой ночи, я узнал, что то был первый абзац двадцать четвертой главы седьмой книги «Naturalis historia». Тема этой главы — память: последние ее слова: ut nihil non iisdem verbis redderetur auditum[146].

Ничуть не меняя голоса, Иренео предложил мне войти. Он лежал на кровати и курил. Мне кажется, что лица его я не видел до самого рассвета, вспоминается лишь слабое мерцание сигареты. В комнате слегка пахло сыростью. Я сел, повторил историю про телеграмму и про болезнь отца.

Теперь я подхожу к самой трудной части своего рассказа. В нем (пора уже читателю об этом узнать) нет другого сюжета, кроме этого диалога полувековой давности. Я не буду пытаться вос-

---

[146] Примечания: 146

Так что не может быть ничто передано слуху теми же словами *(лат.).*

произвести слова, теперь уже невосстановимые. Предпочитаю со всей точностью передать смысл того многого, что я услышал от Иренео. Непрямая речь отдаляет и ослабляет эффект, я знаю, что приношу в жертву красочность рассказа; пусть мои читатели вообразят себе поток прерывающихся периодов, который обрушился на меня в ту ночь.

Иренео начал с перечисления — на латыни и на испанском — случаев удивительной памяти, указанных в «Naturalis historia»: Кир[147], персидский царь, знавший по имени всех солдат своих армий; Митридат Евпатор, вершивший правосудие на двадцати двух языках своей империи; Симонид[148], изобретатель мнемотехники; Метродор[149], славившийся умением точно

---

[147] Примечания: 147

Кир Великий — его памятью восхищались античные историки от Геродота до Аммиана Марцеллина. *(Прим. Б. Дубин)*

[148] Примечания: 148

Симонид Кеосский, прозванный Медоречивым (556–468 до н. э.), — греческий поэт, считается изобретателем мнемоники; о нем рассказывают Цицерон («Об ораторе», II, 56–57) и Квинтилиан («Об ораторском искусстве», XI, II). *(Прим. Б. Дубин)*

[149] Примечания: 149

Метродор Скепсийский (II–I вв. до н. э.) — греческий философ и учитель красноречия; о его памяти, кроме Плиния, писали Цицерон («Об ораторе», II, 58; «Тускуланские беседы», I, 59) и Аммиан Марцеллин («История», XV, 8). *(Прим. Б. Дубин)*

повторять единожды услышанное. Вполне искренне Иренео удивлялся тому, что подобные вещи могут удивлять. Он сказал мне, что до того дождливого вечера, когда его сбросил белый жеребец, он был таким же, как все смертные: слепым, глухим, пустоголовым, беспамятным. (Я попытался было намекнуть на его точное чувство времени, на удивительное запоминание собственных имен — он меня не слушал.) Девятнадцать лет он прожил как во сне: он смотрел и не видел, слушал и не слышал, все забывал, почти все. Упав с коня, он потерял сознание; когда же пришел в себя, восприятие окружающего было почти невыносимым — настолько оно стало богатым и отчетливым, но также ожили самые давние и самые незначительные воспоминания. Немного спустя он узнал, что его парализовало. Этот факт почти не взволновал его. Он решил (почувствовал), что неподвижность — ничтожная плата. Теперь его восприятие и память были безошибочны.

Мы с одного взгляда видим три рюмки на столе, Фунес видел все лозы, листья и ягоды на виноградном кусте. Он знал формы южных облаков на рассвете тридцатого апреля тысяча восемьсот восемьдесят второго года и мог мысленно сравнить

их с прожилками на книжных листах из испанской бумажной массы, на которые взглянул один раз, и с узором пены под веслом на Рио-Негро в канун сражения под Кебрачо[150]. Воспоминания эти были непростыми — каждый зрительный образ сопровождался ощущениями мускульными, тепловыми и т. п. Он мог восстановить все свои сны, все дремотные видения. Два или три раза он воскрешал в памяти по целому дню; при этом у него не было ни малейших сомнений, только каждое такое воспроизведение требовало тоже целого дня. Он сказал мне: «У меня больше воспоминаний, чем было у всех людей в мире, с тех пор как мир стоит». И еще: «Мои сны — все равно что ваше бодрствование». И еще, уже на рассвете: «Моя память, приятель, — все равно что сточная канава». Окружность на аспидной доске, прямоугольный треугольник, ромб — все эти формы мы вполне можем вообразить; так же мог вообразить Иренео спутанную гриву жеребца, стадо скота на горном склоне, меняющиеся оттенки огня и несметные частицы пепла, перемены, происходящие с лицом покойника в течение дол-

[150] Примечания: 150

Кебрачо — место боя 28 ноября 1840 г. в ходе гражданских войн в Аргентине: отряды генерала Лавалье были разбиты здесь армией сторонников диктатора Х. М. де Росаса. *(Прим. Б. Дубин)*

гого траурного бдения. Не знаю, правда, сколько звезд видел он на небе.

Вот что он мне рассказал; ни тогда, ни потом я не сомневался в правдивости его слов. В те времена не было кинематографа, не было фонографов; и все же вполне очевидно, хотя и невероятно, что никто не попытался провести с Фунесом хоть какой-нибудь опыт. Да, все мы живем, откладывая на потом все, что можно отложить; вероятно, в глубине души мы все знаем, что мы бессмертны и что рано или поздно каждый человек сделает все и будет знать все.

Из темноты голос Фунеса продолжал говорить.

Он сказал мне, что в 1886 году придумал оригинальную систему нумерации и что в течение немногих дней перешел за двадцать четыре тысячи. Он ее не записывал, так как то, что он хоть раз подумал, уже не стиралось в памяти. Первым стимулом к этому послужила, если не ошибаюсь, досада, что для выражения «тридцать три песо» требуются две цифры или три слова, вместо одного слова или одной цифры. Этот нелепый принцип он решил применить и к другим числам. Вместо «семь тысяч тринадцать» он, например, говорил «Максимо Перес»; вместо «семь тысяч четырнадцать» — «железная

дорога»; другие числа обозначались как «Луис Мельян Лафинур», «Олимар», «сера», «трефы», «кит», «газ», «котел», «Наполеон», «Агустин де Ведиа»[151]. Вместо «пятьсот» он говорил «девять». Каждое слово имело особый знак, вроде клейма, последние большие числа были очень сложны… Я попытался объяснить ему, что этот набор бессвязных слов как раз нечто совершенно противоположное системе нумерации. Я сказал, что, говоря «триста шестьдесят пять», мы называем три сотни, шесть десятков, пять единиц — делаем анализ, которого нет в его «числах», вроде «негр Тимотео» или «взбучка». Фунес меня не понимал или не хотел понять.

В XVII веке Локк предположил[152] (и отверг) возможность языка, в котором каждый отдельный предмет, каждый камень, каждая птица и каждая ветка имели бы собственное имя; Фунес тоже пытался придумать аналогичный язык, но отказался от него, найдя, что он будет слишком обобщенным, слишком двусмысленным. В дей-

---

[151] Примечания: 151

Агустин де Ведиа (1843–1910) — аргентинский публицист. *(Прим. Б. Дубин)*

[152] Примечания: 152

…Локк предположил… — «Опыт о человеческом разумении» (III). *(Прим. Б. Дубин)*

ствительности Фунес помнил не только каждый лист на каждом дереве в каждом лесу, но помнил также каждый раз, когда он этот лист видел или вообразил. Он решил ограничить каждое из своих путешествий в прошлое какими-нибудь семьюдесятью тысячами воспоминаний, которые он будет обозначать числами. Два соображения остановили его: сознание, что задача эта бесконечна, и сознание, что она бесполезна. Он подумал, что к своему смертному часу едва ли успеет классифицировать все воспоминания детства.

Два упомянутых проекта (бесконечный словарь для бесконечного натурального ряда чисел, бесполезный мысленный каталог всех хранящихся в памяти образов) — безумны, однако обнаруживают некое смутное величие. Они позволяют нам представить себе или почувствовать головокружительный мир Фунеса. Не будем забывать, что сам он был почти совершенно не способен к общим Платоновым идеям. Ему не только было трудно понять, что родовое имя «собака» охватывает множество различных особей разных размеров и разных форм; ему не нравилось, что собака в три часа четырнадцать минут (видимая в профиль) имеет то же имя, что собака в три часа

пятнадцать минут (видимая анфас). Собственное его лицо в зеркале, собственные руки каждый раз вызывали в нем удивление. Свифт рассказывает, что император Лилипутии видел движение минутной стрелки[153]; Фунес непрерывно видел медленное развитие всякой порчи, кариеса, усталости. Он замечал проникновение смерти, сырости. Он был одиноким и ясновидящим зрителем многообразного, преходящего и почти невыносимо отчетливого мира. Вавилон, Лондон и Нью-Йорк своим яростным блеском поражают воображение человеческое; однако никто в этих кишащих людьми башнях или на этих мятущихся улицах не испытывал столь непрестанного жара и гнета реальности, как тот, что обрушивался денно и нощно на бедного Иренео в его убогом южноамериканском предместье. Ему было очень трудно уснуть. Уснуть — значит отвлечься от мира; лежа на спине в своей постели, Фунес в темноте представлял себе каждую трещину и каждый выступ на стенах соседних домов. (Повторяю, что даже самое незначительное из его воспоминаний было более точным и ярким, чем наше ощущение физического удовольствия или

[153] Примечания: 153

…император Лилипутии видел движение минутной стрелки… — Дж. Свифт «Путешествие в Лилипутию», гл. 2. *(Прим. Б. Дубин)*

физического страдания.) В восточной стороне города лежал еще не вполне застроенный участок с новыми, незнакомыми домами. Фунес воображал их себе сплошь черными, состоящими из однородной тьмы; чтобы уснуть, он поворачивался лицом в их сторону. И еще он представлял себе, что находится в реке и течение его колышет и растворяет.

Он без труда изучил английский, французский, португальский, латинский. Однако я подозреваю, что он был не очень способен мыслить. Мыслить — значит забывать о различиях, обобщать, абстрагировать. В загроможденном предметами мире Фунеса были только подробности, к тому же лишь непосредственно данные.

Робкий утренний свет проник из немощеного патио в комнату.

Тогда я увидел лицо, от которого исходил голос, звучавший всю ночь. Иренео было девятнадцать лет, он родился в 1868 году; он показался мне неким монументом, бронзовым изваянием, более древним, чем Египет, чем пророки и пирамиды. Я подумал, что каждое из моих слов (каждый из моих жестов) останется навсегда в его беспощадной памяти; страх удерживал меня от бесполезных движений.

Иренео Фунес скончался в 1889 году от воспаления легких.

1942 г.

Перевод Е. Лысенко

Форма сабли

Посвящается Э. Э. М.[154]

Лицо его пересекал ужасный шрам: почти идеальная дуга пепельно-серого цвета, идущая от правого виска к левой скуле. Его настоящее имя не имеет значения; в Такуарембо́ все называли его *Англичанин из Ла-Колорады*. Кардосо, прежде владевший этими угодьями, не собирался ничего продавать; я слышал, что Англичанин убедил его неожиданным способом: он поведал Кардосо тайную историю своего шрама. Англичанин приехал с границы, из Рио-Гранде-дель-Сур; разумеется, поговаривали, что в Бразилии он был контрабандистом. Поля Ла-Колорады заросли сорняками, водопои пересыхали; чтобы побороть эти напасти, Англичанин работал наравне со своими пеонами. Говорят, что он был суров до жестокости, но справедлив даже в мелочах. Еще говорят, что он пил: два раза в год запирался у себя на террасе, а спустя два-три дня выныривал наружу, как после битвы или припадка, — блед-

[154] Примечания: 154

Эльза Элена Мильян (1910–2001) — первая жена (1967–1970) Борхеса, за которой писатель ухаживал в 1930-е гг. *(Прим. Б. Дубин)*

ный, дрожащий, тревожный, но все такой же требовательный. Я помню его льдистые глаза, порывистую худобу, серые усы. Он ни с кем не водил дружбы; его испанский и вправду был примитивен и перемешан с бразильским. Помимо деловой корреспонденции и рекламных брошюр писем он не получал.

Во время моей недавней поездки по северным департаментам Карагуата́ так разлилась, что мне пришлось заночевать в Ла-Колораде. Через несколько минут я почувствовал, что мое присутствие в доме нежелательно; я постарался расположить Англичанина к себе, сыграв на наименее разборчивой из страстей: на патриотизме. Я заявил, что считаю английский державный дух непобедимым. Мой собеседник выразил согласие, а потом с улыбкой добавил, что он не англичанин. Он — ирландец, из Дангарвана. И надолго замолчал, как будто раскрыл секрет.

После ужина мы вышли посмотреть на небо. Дождь перестал, но пространство над южными холмами было покрыто трещинами молний: собиралась новая буря. Когда мы вернулись в неприветливую гостиную, пеон, накрывавший на стол, принес бутылку рома. Мы пили долго и молча.

Не знаю, сколько прошло времени, когда я заметил, что здорово захмелел; не знаю также, что заставило меня упомянуть о его шраме — наитие, опьянение или скука. Лицо Англичанина исказилось; в первые секунды я думал, что он выгонит меня из дома. В конце концов он произнес будничным тоном:

— Я расскажу вам историю моего ранения, но только с условием: не будет упущена ни одна постыдная подробность, ни одно позорное обстоятельство.

Я согласился. Вот история, которую он поведал, перемежая английские слова с испанскими, а иногда и с португальскими:

«Дело было в 1922 году[155], в одном из городов Коннахта, где я был одним из многих, кто тайно боролся за свободу Ирландии. Одни мои товарищи выжили и сейчас вернулись к мирным занятиям; другие, как ни странно, сражаются в морях или на чужбине под английским флагом; самый лучший из нас умер на рассвете во дворе казармы, расстрелянный полусонными солдата-

---

[155] Примечания: 155

…в 1922 году… — Имеется в виду гражданская война между ирландскими республиканцами, требовавшими полной независимости страны, и приверженцами англо-ирландского договора 1921 г., по которому Ирландия получила статус доминиона, а северные ее области остались под властью англичан. *(Прим. Б. Дубин)*

ми; иные (и не самые неудачливые) встретили свою судьбу в безымянных и почти безвестных схватках гражданской войны. Мы были республиканцы, католики; мы были, как мне теперь кажется, романтики. Ирландия была для нас не только утопическим будущим и нетерпимым настоящим — она была горькой и нежной мифологией, округлыми холмами и красными болотами, была позором Парнелла и колоссальной эпопеей, воспевающей похищение быков[156], которые в другой инкарнации предстают героями, а потом рыбами или горами… Однажды вечером (этот вечер мне не забыть никогда) к нам прибыл новый соратник из Манстера: некий Джон Винсент Мун.

Муну едва ли исполнилось двадцать лет. Он был худенький и в то же время какой-то дряблый, производил неприятное впечатление существа без позвоночника. Он с пылом и тщеславием прочел от корки до корки учебник какого-то коммуниста; диалектический материализм служил ему как затычка в любой дискуссии. Причинам, по которым можно ненавидеть или любить

[156] Примечания: 156

…колоссальной эпопеей, воспевающей похищение быков… — Сквозной мотив ирландских преданий — «Похищения стад Фроэха», «Похищения быка из Куальнге» и др. *(Прим. Б. Дубин)*

другого человека, поистине нет числа: Мун сводил всю мировую историю к одному мутному экономическому конфликту. Он утверждал, что победа революции неизбежна. Я возразил, что *джентльмену* могут прийтись по нраву только проигрышные предприятия… Было уже темно; мы продолжали спорить в коридоре, на лестницах, потом на безлюдных улицах. Суждения Муна производили на меня меньше впечатления, чем его безапелляционный менторский тон. Новый товарищ не занимался полемикой: он выносил свой презрительный и немного желчный приговор. Когда мы добрались до последних домов, нас оглушила ружейная пальба. (До этого или после — не помню — мы шли вдоль бесконечной стены какой-то фабрики или казармы.) Мы свернули в немощеный проулок; из горящей лачуги выскочил солдат, в отсветах пламени он казался огромным. Солдат закричал, приказывая нам остановиться. Я ускорил шаги, мой товарищ за мной не последовал. Я обернулся: Джон Винсент Мун застыл посреди улицы, окаменев от растерянности и ужаса. Я бросился назад, одним ударом сшиб солдата с ног, встряхнул Винсента Муна, обругал и скомандовал уходить. Мне пришлось держать его под руку: необоримый страх

мешал ему передвигаться. Мы бежали сквозь ночь, пронизанную пожарами. Нас настиг ружейный залп, одна из пуль задела правое плечо Муна; пока мы пробирались между сосен, он жалобно подвывал.

Той осенью 1922 года я нашел пристанище в усадьбе генерала Беркли. Генерал (которого я никогда не видел) занимал какой-то административный пост в Бенгалии; дому было меньше века, но он был обветшалый и мрачный, изобиловал запутанными коридорами и проходами непонятного предназначения. Первый этаж занимали музей и грандиозная библиотека: немыслимые, противоречащие друг другу издания, каким-то образом составляющие свод истории XIX века; сабли из Нишапура, в идеальных изгибах которых, казалось, застыли ветер и ярость схватки. Мы вошли в дом (мне смутно помнится) с черного хода. Мун пробормотал дрожащими пересохшими губами, что ночь выдалась прелюбопытная; я занялся его рукой, принес ему чашку чая и удостоверился, что рана его была поверхностной. А потом он с изумлением произнес:

— А все-таки вы изрядно рисковали.

Я посоветовал Муну не тревожиться. (Сам уклад гражданской войны вынуждал меня поступать

так, как я поступил; к тому же арест одного заговорщика грозил поставить под удар все дело.)

На следующий день к Муну вернулась его самоуверенность. Он угостился моей сигаретой и подверг меня суровому допросу касательно «материальных ресурсов нашей революционной партии». Вопросы били в цель; я признался (откровенно), что положение тяжелое. С юга донеслись гулкие раскаты выстрелов. Я сказал Муну, что нас ждут товарищи. Мой плащ и револьвер лежали у меня в комнате; вернувшись, я застал Муна лежащим на диване. Он пожаловался, что у него подскочила температура, и сослался на дергающую боль в плече.

И тогда я понял, что трусость его неизлечима. Я смущенно попросил Муна поберечь себя и вышел. Мне было так стыдно за его малодушие, как будто трусом оказался я сам, а не Винсент Мун. Поступок одного человека — это ведь и поступок всех людей. Поэтому не было несправедливостью, когда весь род людской пострадал из-за ослушания в одном-единственном саду; поэтому справедливо, что распятия одного-единственного еврея хватает для спасения всех людей. Возможно, Шопенгауэр был прав: я — это другие; любой человек — это все люди, Шекспир — это в опреде-

ленном смысле Джон Винсент Мун.

Мы провели в огромном генеральском доме девять дней. О муках и вспышках той войны я рассказывать не буду: моя цель — изложить историю этого позорного шрама. В моей памяти те девять дней сливаются в один долгий день — кроме предпоследнего, когда наши ворвались в казарму и нам удалось сквитать счет за тех шестнадцать товарищей, которых расстреляли из пулемета в Элфине. Я выскальзывал из дома на заре, в сумеречной мути. Возвращался только к вечеру. Соратник дожидался меня на втором этаже: рана не позволяла ему спускаться вниз. Он вспоминается мне с книгой по военной стратегии в руках: то ли Моуд[157], то ли Клаузевиц. «Мое любимое оружие — это артиллерия», — признался он мне однажды вечером. Мун расспрашивал меня о наших планах, ему нравилось их критиковать и подправлять. А еще он с чувством обличал «наше скудное экономическое обеспечение» и с мрачной категоричностью предрекал траги-

[157] Примечания: 157

Фредерик Нэтуш Моуд (1854–1933) — английский военный историк, автор «Эволюции военной стратегии с XVIII века до наших дней» (1905). *(Прим. Б. Дубин)*

ческий исход. «C'est une affaire flambée»[158], — бормотал Мун. Желая показать, что трусость его тела не имеет никакого значения, он превозносил проницательность своего ума. Вот так — плохо ли, хорошо ли — мы прожили девять дней.

На десятый день *Black and Tans*[159], [160] окончательно захватили власть в городе. Улицы патрулировались высокими безмолвными всадниками; ветер нес с собой дым и пепел; на углу я увидел растерзанный труп, но куда упорнее меня преследует воспоминание о манекене посреди площади, по которому, тренируя меткость, один за другим палили солдаты…

В тот день я снова вышел из дома на рассвете, а вернулся еще до полудня. Мун с кем-то разговаривал в библиотеке; по интонациям я догадался, что он говорит по телефону. Потом я услышал свое имя; потом узнал, что вернусь к семи; потом — рекомендацию арестовать меня в саду. Мой благоразумный друг меня благоразумно

---

[158] Примечания: 158
Это дело пропащее *(фр.)*.

[159] Примечания: 159
Черно-пегие *(англ.)*.

[160] Примечания: 160
Black and Tans — неофициальное название организации, выступавшей в качестве временных полицейских сил во время гражданской войны в Ирландии. *(Прим. Б. Дубин)*

продавал. Я слышал, как он требует гарантий безопасности для себя.

Здесь моя история путается и теряется. Я знаю, что гнался за доносчиком по черным кошмарным коридорам и по гулким головокружительным лестницам. Мун очень хорошо знал устройство дома — гораздо лучше меня. Один раз (или дважды) я его упустил. Но загнал его в угол раньше, чем за мной пришли солдаты. Я схватил висевшую на стене восточную саблю, этим стальным полумесяцем я навсегда запечатлел на его лице кровавый полумесяц. Борхес, вы для меня незнакомец, поэтому я открыл вам все. Ваше презрение для меня не столь горько».

Рассказчик замолчал. Я заметил, как дрожат его руки.

— А что стало с Муном? — спросил я.

— Мун получил иудины деньги и бежал в Бразилию. В тот вечер, на площади, он видел, как пьяная солдатня расстреливает манекен.

Я ждал продолжения истории — его не последовало. Я спросил, что было дальше.

И тогда его горло прорезал стон; и тогда он мягко и нежно провел пальцем по кривому белесому шраму.

— Вы мне не верите? — прошептал он. — Разве вы не видите эту позорную отметину на моем лице? Я рассказывал свою историю именно таким образом, чтобы вы дослушали до конца. Это я предал человека, который спас мне жизнь: я Винсент Мун. Теперь вы вольны меня презирать.

1942 г.

Перевод К. Корконосенко

Тема предателя и героя[161]

So the Platonic Year[162]
Whirls out new right and wrong,
Whirls in the old instead;
All men are dancers and their tread
Goes to the barbarous clangour of a gong.
W. B. Yeats. The Tower[163]

Под явным влиянием Честертона (изобретателя и разгадчика изящных тайн) и надворного советника Лейбница (придумавшего предустановленную гармонию) я вообразил себе нижеследующий сюжет, который, возможно, разовью в свободные вечера, но который и в этом виде в

---

[161] Примечания: 161

По мотивам рассказа итальянский кинорежиссер Б. Бертолуччи снял фильм «Стратегия паука» (1970). *(Прим. Б. Дубин)*

[162] Примечания: 162

So the Platonic Year… — Из стихотворения У. Б. Йейтса «1919», вошедшего в его сборник «Башня» (1928). *(Прим. Б. Дубин)*

[163] Примечания: 163

Вот так Платонов Год,
Свершая круг, добро и зло прогонит вон
И к старому опять вернется;
Все люди — куклы; хоровод несется,
И нить их дергает под дикий гонга звон.
У. Б. Йейтс. Башня (*англ.*, перев. А. Сергеева)

какой-то мере оправдывает мое намерение. Мне недостает деталей, уточнений, проверок; целые зоны этой истории от меня еще скрыты; сегодня, 3 января 1944 года, она видится мне так.

Действие происходит в некой угнетаемой и упрямой стране: Польше, Ирландии, Венецианской республике, каком-нибудь южноамериканском или балканском государстве… Вернее сказать, происходило, ибо, хотя рассказчик наш современник, сама-то история произошла в начале или во второй четверти XIX века. Возьмем (ради удобства изложения) Ирландию; возьмем год 1824-й. Рассказчика зовут Райен, он правнук юного, героического, красивого, застреленного Фергюса Килпатрика, чья могила подверглась загадочному ограблению, чье имя украшает стихи Браунинга и Гюго, чья статуя высится на сером холме посреди рыжих болот.

Килпатрик был заговорщиком, тайным и славным вождем заговорщиков; подобно Моисею, который с земли моавитской видел вдали землю обетованную, но не смог ступить на нее, Килпатрик погиб накануне победоносного восстания, плода его дум и мечтаний. Близится дата первого столетия со дня его гибели; обстоятельства убийства загадочны; Райен, посвятивший себя

созданию биографии героя, обнаруживает, что загадка убийства выходит за пределы чисто уголовного дела. Килпатрика застрелили в театре; британская полиция убийцу так и не нашла; историки заявляют, что эта неудача отнюдь не омрачает ее славу, так как убийство, возможно, было делом рук самой полиции. Райена смущают и другие грани загадки. Они отмечены элементами цикличности: в них словно бы повторяются или комбинируются факты из разных отдаленных регионов, отдаленных эпох. Так, всем известно, что сбиры, произведшие осмотр трупа героя, нашли невскрытое письмо, предупреждавшее об опасности появления в театре в тот вечер; так же Юлий Цезарь, направляясь туда, где его ждали кинжалы друзей, получил донесение с именами предателей, которое не успел прочитать. Жена Цезаря Кальпурния видела во сне, что разрушена башня, которой Цезаря почтил сенат; ложные анонимные слухи накануне гибели Килпатрика разнесли по всей стране весть о пожаре в круглой башне в Килгарване, что могло показаться предзнаменованием, ибо Килпатрик родился в Килгарване. Эти аналогии (и другие) между историей Цезаря и историей ирландского заговорщика приводят Райена к

предположению об особой, нам неведомой форме времени, об узоре, линии которого повторяются. Ему приходит на ум децимальная схема, изобретенная Кондорсе; также морфологии истории, предложенные Гегелем, Шпенглером и Вико; человечество Гесиода, вырождающееся в движении от золотого века к железному. Ему приходит на ум учение о переселении душ, которое окружало ужасом кельтские письмена и которое сам Цезарь приписывал британским друидам; он думает, что Фергюс Килпатрик, прежде чем быть Фергюсом Килпатриком, был Юлием Цезарем. Из этого циклического лабиринта выводит Райена одно любопытное совпадение, но такое совпадение, которое тотчас заводит его в другие лабиринты, еще более запутанные и разнородные; слова какого-то нищего, заговорившего с Фергюсом Килпатриком в день его смерти, были предсказаны Шекспиром в трагедии «Макбет». Чтобы история подражала истории, одно это достаточно поразительно; но чтобы история подражала литературе, это и вовсе непостижимо… Райен обнаружил, что в 1814 году Джеймс Алегзандер Нолан, самый старый друг героя, перевел на гэльский главные драмы Шекспира и среди них «Юлия Цезаря». Он также нашел в архивах рукопись статьи Нолана о швейцар-

ских «Festspiele»[164], многочасовых кочующих театральных представлениях, которые требуют тысяч актеров и повторяют исторические эпизоды в тех же городах и горах, где они происходили. Другой неизданный документ открывает ему, что Килпатрик за несколько дней до кончины, председательствуя на своем последнем заседании, подписал смертный приговор предателю, чье имя было зачеркнуто. Такой приговор никак не согласуется с милосердным нравом Килпатрика. Райен исследует дело (его исследования — один из пробелов в сюжете), и ему удается разгадать тайну.

Килпатрика прикончили в театре, но театром был также весь город, и актеров там был легион, и драма, увенчавшаяся его смертью, охватила много дней и много ночей. Вот что произошло.

2 августа 1824 года состоялась встреча заговорщиков. Страна созрела для восстания, однако что-то все же не ладилось: среди заговорщиков был предатель. Фергюс Килпатрик поручил Джеймсу Нолану найти предателя. Нолан поручение исполнил: при всех собравшихся он заявил, что предатель — сам Килпатрик. Неопро-

---

[164] Примечания: 164
Праздничные действа *(нем.)*.

вержимыми уликами он доказал истинность обвинения; заговорщики приговорили своего вождя к смерти. Он сам подписал свой приговор, но просил, чтобы его казнь не повредила родине.

Тогда у Нолана возник необычный замысел. Ирландия преклонялась перед Килпатриком; малейшее подозрение в измене поставило бы под угрозу восстание; по плану Нолана казнь предателя должна была способствовать освобождению родины. Он предложил, чтобы осужденный погиб от руки неизвестного убийцы при нарочито драматических обстоятельствах, которые врежутся в память народную и ускорят восстание. Килпатрик дал клятву участвовать в этом замысле, который предоставлял ему возможность искупить вину и будет подкреплен его гибелью.

Времени оставалось мало, и Нолан не успел сам изобрести все обстоятельства сложного представления: пришлось совершить плагиат у другого драматурга, у врага-англичанина Уильяма Шекспира. Он повторил сцены «Макбета» и «Юлия Цезаря». Публичное и тайное представление заняло несколько дней. Осужденный приехал в Дублин, беседовал с людьми, действовал, молился, негодовал, произносил патетические слова, и каждый из его поступков, которые затем под-

хватит слава, был предусмотрен Ноланом. Сотни актеров помогали игре протагониста; у некоторых роль была сложной, у других — мимолетной. Их слова и дела запечатлены в исторических книгах, в пылкой памяти Ирландии. Килпатрик, увлеченный этой тщательно разработанной ролью, которая его и обеляла, и губила, не однажды обогащал текст своего судьи импровизированными поступками и словами. Так развертывалась во времени эта многолюдная драма вплоть до 6 августа 1824 года, когда в ложе с траурными портьерами, предвещавшей ложу Линкольна[165], долгожданная пуля пробила грудь предателя и героя, который, захлебываясь кровью, хлынувшей из горла, едва успел произнести несколько предписанных ролью слов.

В произведении Нолана пассажи, подражающие Шекспиру, оказались *менее* драматичны; Райен подозревает, что автор вставил их, дабы в будущем кто-нибудь угадал правду. Райен понимает, что и он также является частью замысла Нолана… После долгих раздумий он решает о своем открытии умолчать. Он издает книгу,

[165] Примечания: 165

…ложу Линкольна… — Президент Линкольн был застрелен в театральной ложе агентом плантаторов-южан, членом их тайного общества «Золотой циркуль», актером Джоном Бутом. *(Прим. Б. Дубин)*

прославляющую героя: возможно, и это было предусмотрено.

Перевод Е. Лысенко

Смерть и буссоль[166]

Мандии Молина Ведиа[167]

Из многих задач, изощрявших дерзкую проницательность Лённрота[168], не было ни одной столь необычной — даже вызывающе необычной, — как ряд однотипных кровавых происшествий, достигших кульминации на вилле «Трист-ле-Руа» среди неизбывного аромата эвкалиптов. Правда, последнее преступление Эрику Лённроту не удалось предотвратить, но несомненно, что он его предвидел. Также не сумел он идентифицировать личность злосчастного убийцы Ярмолинского, зато угадал таинствен-

---

[166] Примечания: 166

В 1996 г. по рассказу снят одноименный фильм английского кинорежиссера Алекса Кокса (кроме того, использованы мотивы новелл «Эмма Цунц» и «Евангелие от Марка»; в роли Борхеса — Алекс Кокс). *(Прим. Б. Дубин)*

[167] Примечания: 167

Мандия Молина де Ведиа — знакомая Борхеса, подсказавшая ему мысль использовать в рассказе топику загородного имения в Адроге, куда Борхеса в детстве вывозили на летние месяцы (оно упоминается в новелле «Тлён, Укбар, Орбис Терциус»). *(Прим. Б. Дубин)*

[168] Примечания: 168

Лённрот — в данном контексте, где намеренно смешиваются реалии разных культур, это имя может отсылать к известному финскому фольклористу Элиасу Леннроту (1802–1884), равно как фамилия *Ярмолинский* — к американскому литератору и библиографу, автору

книги «Легенда о Вечном Жиде» Абраму Ярмолинскому (1890–1975). Последний слог фамилии Леннрот (rot) значит по-немецки то же, что scharlach (ярко-красный), а по-английски — red: зеркальная переклич-ка имен намекает на игровую, сновиденную идентичность героев. *(Прим. Б. Дубин)*

ную систему преступного цикла и участие Реда Шарлаха, имевшего кличку Шарлах Денди. Этот преступник (как многие другие) поклялся честью, что убьет Лённрота, но тот никогда не давал себя запугать. Лённрот считал себя чистым мыслителем, неким Огюстом Дюпеном, но была в нем и жилка авантюриста, азартного игрока.

Первое преступление произошло в «Отель дю Нор» — высоченной призме, господствующей над устьем реки[169], воды которой имеют цвет пустыни. В эту башню (так откровенно сочетающую отвратительную белизну санатория, нумерованное однообразие тюремных клеток и общий отталкивающий вид) третьего декабря прибыл делегат из Подольска на Третий конгресс талмудистов, доктор Марк Ярмолинский, человек с серой бородой и серыми глазами. Мы никогда не узнаем, понравился ли ему «Отель дю Нор»; он принял отель безропотно, с присущей ему покорностью, которая помогла ему перенести три года войны в Карпатах и три тысячи лет угнетения и погромов. Ему дали однокомнатный номер

[169] Примечания: 169

...высоченной призме, господствующей над устьем реки... — Здесь соединены черты столичного отеля «Плаза» и одного из первых буэнос-айресских небоскребов «Каванах». *(Прим. Б. Дубин)*

на этаже R, напротив suite[170], который не без шика занимал тетрарх Галилеи. Ярмолинский поужинал, отложил на следующий день осмотр незнакомого города, поместил в placard[171] большое количество своих книг и весьма мало одежды и еще до полуночи погасил свет. (Таково свидетельство шофера тетрарха, спавшего в соседнем номере.) Четвертого декабря, в 11 часов 3 минуты утра, ему позвонил по телефону редактор «Идише цайтунг»[172]; доктор Ярмолинский не ответил; его нашли в номере со слегка уже потемневшим лицом, почти голого под широким старомодным халатом. Он лежал недалеко от двери, выходившей в коридор, его грудь была глубоко рассечена ударом ножа. Несколько часов спустя в том же номере среди газетчиков, фотографов и жандармов комиссар Тревиранус[173] и Лённрот невозмутимо обсуждали загадочное убийство.

---

[170] Примечания: 170

Номер из нескольких комнат *(фр.).*

[171] Примечания: 171

Стенной шкаф *(фр.).*

[172] Примечания: 172

«Идише цайтунг» — в оригинале название газеты дано на языке идиш. *(Прим. Б. Дубин)*

[173] Примечания: 173

Тревиранус — известен немецкий врач и естествоиспытатель Готфрид Райнхольд Тревиранус (1776–1837), введший слово «биология» в одноименном фундаментальном труде (1802–1822). *(Прим. Б. Дубин)*

— Нечего тут мудрить и строить догадки, — говорил Тревиранус, величественно потрясая сигарой. — Всем нам известно, что у тетрарха Галилеи лучшие в мире сапфиры. Чтобы их украсть, кто-то, наверно, по ошибке забрался сюда. Ярмолинский проснулся, вор был вынужден его убить. Как вы считаете?

— Это правдоподобно, но это неинтересно, — ответил Лённрот. — Вы мне возразите, что действительность не обязана быть интересной. А я вам скажу, что действительность, возможно, и не обязана, но не гипотезы. В вашей импровизированной гипотезе слишком большую роль играет случайность. Перед нами мертвый раввин, и я предпочел бы чисто раввинское объяснение, а не воображаемые неудачи воображаемого грабителя.

Тревиранус с досадой ответил:

— Меня не интересуют раввинские объяснения, меня интересует поимка человека, который заколол другого, никому не известного.

— Не такого уж неизвестного, — поправил Лённрот. — Вот полное собрание его сочинений. — Он указал на полку стенного шкафа, где

стояли высокие тома: «Оправдание каббалы»[174], «Обзор философии Роберта Фладда»[175], буквальный перевод «Сефер Йецира»[176], «Библиография Баал-Шема»[177], «История секты хасидов», монография (на немецком) о Тетраграмматоне[178], [179] и другая монография — о наименованиях Бога в Пятикнижии. Комиссар взглянул на них со страхом, чуть не с отвращением. Потом рассмеялся.

— Я всего лишь жалкий христианин, — сказал он. — Берите себе весь этот хлам, если хотите. У меня нет времени разбираться в еврейских суевериях.

— Возможно, что это преступление относится как раз к истории еврейских суеверий, — пробормотал Лённрот.

— Как и христианство, — осмелился дополнить

---

[174] Примечания: 174

«Оправдание каббалы» — заглавие эссе самого Борхеса. *(Прим. Б. Дубин)*

[175] Примечания: 175

Роберт Фладд (1574–1637) — английский врач, пропагандист легенды о Христиане Розенкрейце и его братстве, оккультный философ, развивавший в своих трудах «Мир большой, равно как и малый, их физика и метафизика…» (1617–1621), «Священная философия» (1626), «Философский ключ» (1633) наследие герметической мысли и идеи неоплатоников итальянского Ренессанса. *(Прим. Б. Дубин)*

[176] Примечания: 176

«Книга творения» *(др. — евр.).*

[177] Примечания: 177

Исраэль бен Элиезер Баал-Шем-Тов (сокращенно Бешт, ок. 1700–1760) —

еврейский вероучитель, основатель хасидизма. *(Прим. Б. Дубин)*

[178] Примечания: 178

Четырехбуквие *(греч.).*

[179] Примечания: 179

Тетраграмматон — четырехбуквенное тайное имя Бога (Яхве). *(Прим. Б. Дубин)*

редактор «Идише цайтунг». Он был близорук, очень робок и не верил в Бога.

Один из полицейских обнаружил на маленькой пишущей машинке лист бумаги с бессмысленной фразой:

Произнесена первая буква Имени.

Лённрот и не подумал улыбнуться. Внезапно став библиофилом, гебраистом, он приказал, чтобы книги убитого упаковали, и унес их в свой кабинет. Отстранясь от ведения следствия, он углубился в их изучение. Одна из книг (большой ин-октаво) ознакомила его с учением Исраэля Баал-Шем-Това, основателя секты благочестивых; другая — с могуществом и грозным действием Тетраграмматона, каковым является непроизносимое Имя Бога; еще одна — с тезисом, что у Бога есть тайное имя, в котором заключен (как в стеклянном шарике, принадлежавшем, по сказаниям персов, Александру Македонскому) его девятый атрибут, вечность, — то есть полное знание всего, что будет, что есть и что было в мире. Традиция насчитывает девяносто девять имен Бога, гебраисты приписывают несовершенство этого числа магическому страху перед четными числами, хасиды же делают отсюда вывод, что

этот пробел указывает на существование сотого имени — Абсолютного Имени.

От этих ученых штудий Лённрота через несколько дней отвлекло появление редактора «Идише цайтунг». Редактор хотел поговорить об убийстве, Лённрот предпочел порассуждать об именах Бога; затем редактор в трех колонках сообщил, что следователь Эрик Лённрот занялся изучением имен Бога, чтобы таким путем найти имя убийцы. Лённрот, привыкший к газетным упрощениям, не возмутился. Один из тех коммерсантов, которые открыли, что любого человека можно заставить купить любую книгу, опубликовал популярное издание «Истории секты хасидов».

Второе преступление произошло ночью третьего января в самом заброшенном и голом из пустынных западных предместий столицы. Перед рассветом один из конных жандармов, объезжающих эти пустыри, увидел на пороге старой красильни человека в пончо. Затвердевшее лицо было, как маской, покрыто кровью; грудь глубоко рассечена ударом ножа. На стене, над желтыми и красными ромбами, было написано мелом несколько слов. Жандарм их разобрал… Под вечер Тревиранус и Лённрот направились

на это отдаленное место преступления. Слева и справа от их машины город постепенно сходил на нет: все огромней становился небосвод, и дома все меньше привлекали внимание, зато взгляд задерживался на какой-нибудь сложенной из кирпича печке или стройном тополе. Наконец они прибыли по скорбному адресу: окраинная улочка посреди розоватых глиняных оград, которые словно отражали чудовищно яркий заход солнца. Труп уже был опознан. Это был Симон Асеведо[180], человек, пользовавшийся некоторой известностью в старых северных кварталах, — сначала возчик, потом наемный драчун в предвыборных кампаниях, он опустился до ремесла вора и даже доносчика. (Особый стиль убийства показался обоим следователям вполне адекватным. Асеведо был последним представителем того поколения бандитов, которое охотнее орудовало ножом, чем револьвером.) Мелом были написаны следующие слова:

Произнесена вторая буква Имени.

---

[180] Примечания: 180

Симон Асеведо (ниже он назван Даниэлем) — герою присвоена фамилия уругвайских родственников Борхеса по материнской линии, в прошлом — португальских евреев; в оригинале фамилия дана в португальском правописании. *(Прим. Б. Дубин)*

Третье преступление произошло в ночь на третье февраля. Около часа ночи в кабинете комиссара Тревирануса зазвонил телефон. Гортанный мужской голос, в котором корысть прикрывалась таинственностью, сказал, что зовут его Гинзберг (или Гинзбург)[181] и что он готов за должное вознаграждение сообщить факты, касающиеся обоих убийств — Асеведо и Ярмолинского. Беспорядочные свистки и звуки рожков заглушили голос доносчика. Потом связь прервалась. Не исключая возможности, что это шутка (как-никак была пора карнавала), Тревиранус установил, что с ним говорили из «Ливерпуль-хауз», таверны на Рю-де-Тулон[182], злачной улице, где сосуществуют косморама и молочная, публичный дом и продавцы Библии. Тревиранус позвонил

[181] Примечания: 181

…Гинзберг (или Гинзбург)… — Фамилии могут восходить к американскому семитологу и переводчику русской литературы Гарольду Луису Гинзбергу (1903–1990) или упомянутому Борхесом позднее в новелле «Недостойный» английскому библеисту Кристиану Дейвиду Гинзбургу (1831–1914). *(Прим. Б. Дубин)*

[182] Примечания: 182

…Рю-де-Тулон… — Борхес пояснял, что прообразом ему послужил буэнос-айресский «веселый» квартал Пасео де Хулио (упоминается в новелле «Эмма Цунц»). *(Прим. Б. Дубин)*

хозяину таверны. Хозяин (Блэк Финнеген[183], ирландец и бывший преступник), огорченный и удрученный тревогой за свою репутацию, сказал, что последний, кто пользовался телефоном таверны, был его постоялец, некий Грифиус[184], и что он только недавно вышел с приятелями. Тревиранус немедля отправился в «Ливерпуль-хауз». Хозяин сообщил следующее: неделю тому назад Грифиус снял комнату над баром; у него тонкие черты, тусклая седая борода, одет бедно, в черное; Финнеген (предназначавший это помещение для других целей, о чем Тревиранус догадался) запросил явно чрезмерную плату; Грифиус немедленно уплатил требуемую сумму. Он почти не выходит, ужинает и обедает у себя в комнате, в баре его вряд ли знают в лицо. Вечером он спустился вниз, чтобы позвонить из конторы Финнегена, в это время возле таверны остановился закрытый двухместный экипаж. Возчик

---

[183] Примечания: 183

Блэк Финнеген — вероятно, отсылка к роману Джойса «Поминки по Финнегану» (1939), который тоже строится на вавилонском смешении языков, культур и мифологий. *(Прим. Б. Дубин)*

[184] Примечания: 184

Грифиус — не исключен намек на немецкого поэта и драматурга Андреаса Грифиуса (1616–1664), который, среди прочего, перевел шекспировскую комедию чудачеств и переодеваний «Сон в летнюю ночь», либо немецкого барочного поэта Кристиана Грифиуса (1649–1706). *(Прим. Б. Дубин)*

не сошел с облучка, но кое-кто из посетителей заметил, что он был в маске медведя. Из экипажа вышли два арлекина — оба невысокого роста, и всякий бы сказал, что они здорово выпили. Под вой рожков они ввалились в контору Финнегена, кинулись обнимать Грифиуса, который как будто их узнал, но отвечал им холодно; они обменялись несколькими словами на идише — он низким, гортанным голосом, они фальшивыми, высокими голосами, — и все трое поднялись в его комнату. Через четверть часа спустились, очень веселые. Грифиус шатался и был с виду так же пьян, как те двое. Высокий, покачивающийся, он шел между двумя арлекинами в масках. (Женщина из бара вспомнила желтые, красные и зеленые ромбы на их одежде.) Грифиус дважды споткнулся. Оба раза арлекины его подхватили. Все трое сели в экипаж и поехали в направлении близлежащей гавани, имеющей прямоугольную форму. Уже стоя на подножке экипажа, поднявшийся последним арлекин нацарапал мелом на одном из столбов подъезда непристойный рисунок и какую-то фразу.

Тревиранус прочел написанное. Как можно было предвидеть, надпись гласила:

Произнесена последняя буква Имени.

Затем он осмотрел комнатку Грифиуса-Гинзберга. На полу звездой расплылось пятно крови, в углах валялись окурки сигарет венгерской марки, в шкафу стояла книга на латинском языке «Philologus hebraeograecus»[185] (1739) Лейсдена[186] с несколькими от руки сделанными пометками. Тревиранус негодующе поглядел на нее и послал за Лённротом. Тот, даже не сняв шляпы, принялся листать книгу, пока комиссар допрашивал противоречивших друг другу свидетелей предполагаемого похищения. В четыре часа оба вышли. На извилистой Рю-де-Тулон, ступая по неубранному с утра серпантину, Тревиранус сказал:

— А если происшествие нынешней ночи — просто симуляция?

Эрик Лённрот усмехнулся и с полной серьезностью прочитал вслух пассаж (им подчеркнутый) из тридцать третьего рассуждения «Philologus»:

— Dies Judaeorum incipit ad solis occasu usgue ad

---

[185] Примечания: 185

«Еврейско-греческий толкователь» *(лат.).*

[186] Примечания: 186

Иоганн Лейсден (1624–1699) — нидерландский богослов, лексикограф-гебраист. *(Прим. Б. Дубин)*

solis occasum diei sequentis. Это значит, — добавил он, — у евреев день начинается с заката солнца и длится до заката солнца следующего дня.

Его спутник попытался съязвить:

— И это самые ценные сведения, которые вы нынче вечером раздобыли?

— Нет. Более ценно одно слово, сказанное Гинзбергом.

Вечерние газеты не обошли молчанием эти периодически повторявшиеся убийства. «Крест на Мече» противопоставил им великолепную дисциплину и порядок на последнем Конгрессе отшельников; Эрнст Паласт[187] в «Мученике» осудил «недопустимую медлительность подпольного, жалкого погрома, которому понадобилось три месяца для ликвидации трех евреев»; «Идише цайтунг» отвергла ужасающую гипотезу об антисемитском заговоре, «хотя многие проницательные умы не видят другого объяснения этой тройной тайны»; самый знаменитый из наемных убийц Юга, Денди Ред Шарлах, поклялся,

[187] Примечания: 187

Эрнст Паласт — прозрачный для столичных литераторов намек на аргентинского писателя Эрнесто Паласио (1900–1979), с которым Борхес был в юности знаком по группе «Флорида». В 1930–1940-е гг. Паласио занял крайние националистические и антисемитские позиции (характерно, что его имя и фамилия в рассказе германизированы). *(Прим. Б. Дубин)*

что убийства такого рода в его районе никогда не совершались, и обвинил комиссара Франца Тревирануса в преступной халатности.

Вечером первого марта комиссар получил запечатанный конверт. Комиссар вскрыл его: в нем было письмо с подписью *«Барух Спиноза»* и подробный план города, явно выдранный из какого-то путеводителя. В письме предсказывалось, что третьего марта четвертое убийство не совершится, ибо красильня на востоке города, таверна на Рю-де-Тулон и «Отель дю Нор» были «идеальными вершинами мистического равностороннего треугольника[188]»; красными чернилами на плане была показана правильность этого треугольника. Тревиранус безропотно прочитал это доказательство de more geometrico[189], [190] и отослал письмо и план Лённроту домой — такую белиберду только ему и разбирать.

Эрик Лённрот внимательно изучил присла-

---

[188] Примечания: 188

Равносторонний треугольник — пифагорейский символ космоса в его целокупности — отсылает в данном контексте к тому же смыслу, что и Тетраграмматон. *(Прим. Б. Дубин)*

[189] Примечания: 189

Геометрический способ *(лат.)*.

[190] Примечания: 190

…de more geometrico… — Намек на заглавие трактата Спинозы (сам он упомянут в предыдущих строках текста) «Этика, доказанная геометрическим способом» (1677). *(Прим. Б. Дубин)*

ное. Три указанные точки действительно находились на равных расстояниях. Симметрия во времени (3 декабря, 3 января, 3 февраля), симметрия в пространстве… Вдруг он почувствовал, что сейчас разгадает тайну. Это интуитивное озарение дополнили компас и буссоль. Он усмехнулся, произнес слово «Тетраграмматон» (недавно усвоенное) и позвонил комиссару.

— Благодарю, — сказал он, — за равносторонний треугольник, который вы мне вчера прислали. Он помог мне решить задачу. Завтра же, в пятницу, преступники будут за решеткой. Мы с вами можем спокойно спать.

— Стало быть, они четвертое убийство не замышляют?

— Именно потому, что они замышляют четвертое убийство, мы можем быть вполне спокойны. — И Лённрот повесил трубку.

Час спустя он ехал в поезде Южных железных дорог по направлению к заброшенной вилле «Трист-ле-Руа». На южной окраине города, о котором идет речь, протекает грязный ручей с мутной, глинистой водой, полной отбросов и мусора. За ручьем находится фабричное предместье, где под крылышком своего главаря-барселонца процветают наемные убийцы. Лённрот усмехнулся при

мысли, что самый знаменитый из них — Ред Шарлах — все бы отдал, чтобы узнать о его тайной поездке. Асеведо был дружком Шарлаха. Лённрот предположил возможность того, что четвертой жертвой будет Шарлах. Затем он ее отверг… В принципе, он задачу решил; конкретные обстоятельства, факты (имена, аресты, физиономии, судебные и тюремные подробности) его теперь почти не интересовали. Ему хотелось погулять, хотелось отдохнуть после трех месяцев, проведенных за столом в изучении дела. Он рассудил, что объяснение убийств содержится в анонимно присланном треугольнике и в одном пылью древности покрытом греческом слове. Тайна была для него ясна, как кристалл, он даже покраснел, что ухлопал на нее сто дней.

Поезд остановился на тихой товарной станции. Лённрот вышел из вагона. Стоял один из тех безлюдных мирных вечеров, которые напоминают утро. Воздух на затуманенной равнине был сырой и холодный. Лённрот зашагал по дороге. Он увидел собак, увидел стоявший в тупике товарный вагон, увидел горизонт, увидел серебристую лошадь, которая пила из лужи вонючую воду. Уже темнело, когда вдали показался четырехугольный бельведер виллы «Трист-ле-Руа», почти

такой же высокий, как окружавшие его эвкалипты. Лённрот подумал, что всего лишь один рассвет и один закат (извечная заря на востоке и другая заря на западе) отделяют его от часа, желанного для искателей Имени.

Неровный периметр усадьбы очерчивала заржавевшая железная ограда. Главные ворота были заперты. Не слишком надеясь на то, что удастся войти, Лённрот обогнул всю усадьбу. Очутившись опять перед неприступными воротами, он почти машинально просунул руку меж прутьями и наткнулся на засов. Скрип железа был для него неожиданностью. Медленно, натужно поддались его усилиям и ворота.

Лённрот пошел по аллее между эвкалиптами, топча многие поколения жестких красных листьев. Вблизи вилла «Трист-ле-Руа» поражала бессмысленной симметрией и маниакальной повторяемостью украшений: ледяной Диане в одной мрачной нише соответствовала в другой нише другая Диана; одному балкону как бы служил отражением другой балкон; два марша парадной лестницы поднимались с двух сторон к двум балюстрадам. Отбрасывал огромную тень Гермес с двумя лицами. Лённрот обошел кругом весь дом, как прежде — усадьбу. Он осмотрел все

и под высокой террасой заметил узкую штору.

Лённрот отвел штору: за нею было несколько мраморных ступеней, ведших в подвал. Уже догадываясь о вкусах архитектора, Лённрот предположил, что в противоположной стене подвала будут такие же ступени. Он и впрямь их нашел, поднялся и, упершись руками в потолок, открыл крышку люка и вышел.

Слабое сияние привело его к окну. Он распахнул окно: желтая круглая луна четко освещала запущенный сад с двумя недействующими фонтанами. Лённрот обследовал дом. Через прихожие и галереи он выходил в одинаковые патио и несколько раз оказывался в одном и том же патио. По пыльным лестницам он поднимался в круглые передние, бесконечно отражался в противостоящих зеркалах, без конца открывал или приоткрывал окна, за которыми с разной высоты и под разным углом видел все тот же унылый сад; мебель в комнатах покрывали желтые чехлы, и их тарлатан обволакивала паутина. В одной из спален он задержался, в этой спальне в узкой фаянсовой вазе стоял один-единственный цветок; при первом прикосновении сухие лепестки рассыпались пылью. На третьем, и последнем этаже дом показался Лённроту беспредельным

и все разрастающимся. «Дом не так уж велик, — подумал он. — Это только кажется из-за темноты, симметричности, зеркал, запущенности, непривычной обстановки, пустынности».

По винтовой лестнице он поднялся на бельведер. Вечерняя луна светила сквозь ромбы окон — они были желтые, красные и зеленые. Лённрот остановился, пораженный странным, ошеломляющим воспоминанием[191].

Двое мужчин невысокого роста, но коренастых и свирепых набросились на него и обезоружили; третий, очень высокий, церемонно поклонился и сказал:

— Вы весьма любезны. Вы сберегли нам одну ночь и один день.

Это был Ред Шарлах. Те двое связали Лённроту руки. Он наконец обрел дар речи.

— Неужто, Шарлах, это вы ищете Тайное Имя?

Шарлах стоял, не отвечая. Он не участвовал в короткой схватке, только протянул руку, чтобы взять револьвер Лённрота. Но вот он заговорил; Лённрот услышал в его голосе усталую удовле-

---

[191] Примечания: 191

…пораженный странным, ошеломляющим воспоминанием. — Воспоминание самого Борхеса о веранде летнего дома в Адроге (как и «неизбывный аромат эвкалиптов» в начале рассказа); оба этих мотива не раз возникают в его лирике и прозе. *(Прим. Б. Дубин)*

творенность победой, ненависть, безмерную, как мир, и печаль, не менее огромную, чем ненависть.

— Нет, — сказал Шарлах. — Я ищу нечто более бренное и хрупкое, я ищу Эрика Лённрота. Три года тому назад в притоне на Рю-де-Тулон вы лично арестовали и засадили в тюрьму моего брата. Мои парни увезли меня после перестрелки с полицейской пулей в животе. Девять дней и девять ночей я умирал в этой безлюдной симметрической вилле; меня сжигала лихорадка, ненавистный двулобый Янус, который глядит на закаты и восходы, нагонял на меня ужас во сне и наяву. Я возненавидел свое тело, мне чудилось, что два глаза, две руки, два легких — это так же чудовищно, как два лица. Один ирландец пытался обратить меня в веру Христову, он твердил мне изречение «гоим»[192]: «Все дороги ведут в Рим». Ночью я бредил этой метафорой, я чувствовал, что мир — это лабиринт, из которого невозможно бежать, потому что все пути — пусть кажется, что они идут на север или на юг, — в самом деле ведут в Рим, а Рим был заодно и квадратной камерой, где умирал мой брат, и виллой «Трист-ле-Руа». В

[192] Примечания: 192
Неевреев *(иврит).*

эти ночи я поклялся богом, который видит двумя лицами, и всеми богами лихорадки и зеркал, что сооружу лабиринт вокруг человека, засадившего в тюрьму моего брата. Вот я и устроил его, и слажен он крепко: материалом послужили убитый ересиолог, буссоль, секта восемнадцатого века, одно греческое слово, один нож, ромбы на стене красильни.

Первый элемент ряда был мне подброшен случаем. С несколькими товарищами (среди них был Даниэль Асеведо) я задумал украсть сапфиры тетрарха. Асеведо нас предал: на деньги, которые он получил вперед, он напился и на день раньше отправился грабить один. В огромном отеле он заблудился; около двух ночи забрел в номер Ярмолинского. Тот, мучимый бессонницей, сидел и писал. Вероятно, он готовил какую-то заметку или статью об Имени Бога; он как раз написал слова: «Произнесена первая буква Имени». Асеведо приказал ему молчать; Ярмолинский потянулся рукой к звонку, который разбудил бы всех в отеле; Асеведо нанес ему только один удар ножом — в грудь. Это было почти инстинктивным движением; пятьдесят лет насилия научили его, что самое легкое и надежное — это убить… Через десять дней «Идише цайтунг» сообщила, что в писаниях

Ярмолинского вы ищете ключ к гибели Ярмолинского. Я прочитал «Историю секты хасидов» и узнал, что благоговейный страх, мешающий произнести Имя Бога, породил учение, что Имя это всесильно и облечено тайной. Я узнал также, что некоторые хасиды в поисках этого Тайного Имени доходили до убийств… Я понял, что, по вашему предположению, раввина убили хасиды, и занялся подкреплением этой догадки.

Марк Ярмолинский был убит ночью третьего декабря; для второго «жертвоприношения» я выбрал ночь третьего января. Он погиб в северной части города; для второго «жертвоприношения» надо было найти место в восточной. Требовавшейся мне жертвой стал Даниэль Асеведо. Он заслуживал смерти: он был необуздан, он был предатель, его арест мог погубить весь мой план. Его заколол один из наших; чтобы создать связь между его трупом и предыдущим, я написал над ромбами красильни: «Произнесена вторая буква Имени».

Третье «преступление» произошло третьего февраля. Как и угадал Тревиранус, это была чистая симуляция. Графиус-Гинзберг-Гинзбург — это я; я провел бесконечную неделю (приклеив редкую фальшивую бородку) в этом развратном

вертепе на Рю-де-Тулон, пока меня не похитили мои друзья. Стоя на подножке экипажа, один из них написал на столбе: «Произнесена последняя буква Имени». Эта фраза указывала на то, что задуманных преступлений было три. Так и поняли все в городе; но я несколько раз намекнул для вас, мыслитель Эрик Лённрот, что их должно быть четыре. Одно чудо на севере, два других на востоке и на западе требуют для полноты четвертого на юге; в Тетраграмматоне, Имени Бога, JHVH — это ведь четыре буквы; арлекины и вывеска красильщика внушали мысль о четырех элементах. Я подчеркнул в труде Лейсдена одно место: в этом абзаце говорится, что день у евреев считается от заката до заката; эта фраза подсказывает, что убийства происходили четвертого числа каждого из трех месяцев. Я послал Тревиранусу равносторонний треугольник. Я предчувствовал, что вы добавите недостающую точку. Точку, которая завершит безупречный ромб[193], точку, которая установит место, где вас будет ждать верная смерть. Я все обдумал, Эрик Лённрот, чтобы заманить вас в безлюдную «Трист-ле-Руа».

---

[193] Примечания: 193

…безупречный ромб… — Священной символике ромба — как образу космоса с его творцом в центре — посвящен трактат Томаса Брауна «Сад Кира» (1658). *(Прим. Б. Дубин)*

Лённрот отвел глаза от Шарлаха. Он посмотрел на деревья и на небо, расчерченные на мутно-желтые, зеленые и красные ромбы. Ему стало зябко и грустно, грусть была какая-то безличная, отчужденная. Уже стемнело, из пыльного сада донесся бессмысленный, ненужный крик птицы. Лённрот в последний раз подумал о загадке симметричных и периодических смертей.

— В вашем лабиринте три лишние линии, — сказал он наконец. — Мне известен греческий лабиринт, состоящий из одной-единственной прямой линии[194]. На этой линии заблудилось столько философов, что немудрено было запутаться простому детективу. Шарлах, когда в следующей аватаре вы будете охотиться за мной, симулируйте (или совершите) одно убийство в пункте A, затем второе убийство в пункте B, в восьми километрах от A, затем третье убийство в пункте C, в четырех километрах от A и B, на середине расстояния между ними. Потом ждите меня в пункте D, в двух километрах от пункта A и

[194] Примечания: 194

…лабиринт… прямой линии. — Имеется в виду довод Зенона Элейского о невозможности движения, его известная философская головоломка «Дихотомия» (приводится Аристотелем в «Физике» и Симпликием в комментарии к ней): тело не может двигаться, поскольку сначала должно пройти половину траектории, а для этого — половину этой половины и т. д. *(Прим. Б. Дубин)*

пункта C, опять же на середине пути. Убейте меня в пункте D, как сейчас убьете в «Трист-ле-Руа».

— Когда я буду убивать вас в следующий раз, — ответил Шарлах, — я вам обещаю такой лабиринт, который состоит из одной-единственной прямой линии, лабиринт невидимый и непрерывный.

Он отступил на несколько шагов. Потом очень сосредоточенно выстрелил.

1942 г.

Перевод Е. Лысенко

Тайное чудо[195]

И умертвил его Аллах на сто лет, потом воскресил. Он сказал: «Сколько ты пробыл?» Тот сказал: «Пробыл я день или часть дня».

Коран, II, 261

Ночью четырнадцатого марта 1936 года в квартире на улице Целетной[196], в Праге, Яромир Хладик[197], автор незавершенной трагедии «Враги», труда «Оправдание вечности» и исследования о неявных иудаистских источниках творчества Якоба Бёме, видел во сне долгую шахматную партию. Она разыгрывалась не между

---

[195] Примечания: 195

В рассказе соединены мотивы новеллы Амброза Бирса «Случай на мосту через Совиный ручей» (сб. «В гуще жизни», 1891) и некоторые ходы мысли из эссе Де Куинси «Чудеса как предмет свидетельства». В 1997 г. на Авиньонском театральном фестивале была представлена опера аргентинского композитора Мартина Маталона (р. 1958) по мотивам этой новеллы. *(Прим. Б. Дубин)*

[196] Примечания: 196

Целетная (Цельтнергассе) — улица в Праге, где прошла юность Ф. Кафки и где он начал писать; упоминается в дневниках Кафки и его биографии, написанной Максом Бродом. *(Прим. Б. Дубин)*

[197] Примечания: 197

…Яромир Хладик, автор… труда «Оправдание вечности»… — См. упоминание этого имени в новелле «Три версии предательства Иуды»; в заглавии соединены названия эссе самого Борхеса — «История

вечности», «Оправдание каббалы» и др. *(Прим. Б. Дубин)*

двумя шахматистами, а между двумя знатными родами; партия была начата много веков назад; никто не мог назвать забытую сумму приза, но ходили слухи, что она баснословно велика, почти беспредельна; доска и фигуры хранились в потайной башне; Яромир (из сна) был первенцем в одном из враждующих семейств. Часы отмечали боем каждый сделанный ход. Он бежал под ливнем по пескам пустыни и не мог вспомнить ни шахматных фигур, ни правил игры. На этом он проснулся. Мерный механический гул, перемежавшийся словами команд, стоял над Целетной улицей. На рассвете передовые отряды бронетанковых частей Третьего рейха вошли в Прагу.

Девятнадцатого власти получили донос; вечером того же числа Яромира Хладика арестовали. Его препроводили в белую, пахнущую дезинфекцией казарму на противоположном берегу Влтавы. Он не мог опровергнуть ни одного из обвинений гестапо: его фамилия по матери была Ярославски, в нем текла еврейская кровь, его труд, посвященный Бёме, носил проеврейский характер, его подпись стояла под последним протестом против аншлюса. В 1928 году он перевел «Сефер Иецира» для издательства Германна Барсдорфа; выдержанный в восторженном тоне

каталог раздул известность переводчика ради рекламы; каталог попался на глаза Юлиусу Роте, одному из военных чинов, в чьих руках находилась судьба Хладика. Нет человека, который вне своей компетенции не был бы легковерен; двух-трех эпитетов готическим шрифтом оказалось достаточно, чтобы Юлиус Роте уверовал в то, что Хладик важная фигура, и приговорил его к смерти pour encourager les autres[198], [199]. Казнь была назначена на девять утра двадцать девятого марта. Эта отсрочка (важность которой станет в дальнейшем понятна читателю) объяснялась желанием властей функционировать беспристрастно и размеренно, имитируя законы природы и космоса.

Первым ощущением Хладика был просто ужас. Он думал, что не испугался бы ни виселицы, ни гильотины, но мысль о расстреле была непереносимой. Напрасно он уверял себя, что страшна сама смерть, а не ее конкретные обстоятельства. Он все время бессмысленно перебирал все возможные варианты этих обстоятельств. Он непрерывно

---

[198] Примечания: 198

Для воодушевления прочих *(фр.).*

[199] Примечания: 199

...pour encourager les autres. — Вольтер, «Кандид», гл. 23. *(Прим. Б. Дубин)*

проигрывал в уме предстоящее событие — от бессонного рассвета до непостижимых выстрелов. Задолго до назначенного Юлиусом Роте дня Хладик умирал сотни раз во двориках, на формы и углы которых не хватило бы никакой геометрии, его расстреливали разные солдаты, число которых беспрестанно менялось, иногда издалека, иногда в упор. Он встречал с подлинным страхом (а может быть, с подлинным мужеством) эти воображаемые казни. Каждое видение длилось не более нескольких секунд; круг замыкался, и Яромир постоянно возвращался к зловещему преддверию своей гибели. Затем ему пришло в голову, что, как правило, действительность не соответствует предчувствиям; извращенная логика привела его к мысли, что рисовать себе детали предстоящего — значит не дать им осуществиться. Следуя этой жалкой магии, он измышлял жестокие подробности — чтобы помешать им произойти — и в конце концов стал бояться, как бы они не оказались пророческими.

По ночам, в страхе, он пытался каким-то образом удержаться в ускользающей субстанции времени. Он знал, что близится рассвет двадцать девятого, и рассуждал вслух: *сегодня ночь двадцать второго; пока длится она (и еще шесть*

ночей), я неуязвим и бессмертен. Подстерегавшие его сны казались темными омутами, где можно утонуть. Иногда он с нетерпением ждал расстрела, который во всяком случае положил бы конец напрасной игре воображения. Двадцать восьмого, когда последние отблески заката играли на высоких балках потолка, он отвлекся от этих унизительных мыслей, вспомнив свою драму «Враги».

Хладику было больше сорока. Кроме нескольких дружеских привязанностей и множества привычек, его жизнь определяли довольно необязательные занятия литературой. Как каждый писатель, он судил других по тому, что ими написано, но хотел, чтобы другие судили его по тому, что он собирался сделать или едва замышлял. О любой своей изданной книге он не мог подумать без сожаления. В исследованиях трудов Бёме, Ибн Эзры, Фладда бросалась в глаза его старательность, в переводе «Сефер Йецира» была заметна небрежность, неточность. Пожалуй, более удачным он считал «Оправдание вечности»: первый том излагает историю различных представлений человека о вечности, от неподвижного Бытия Парменида до изменяемого прошлого Хинтона; во втором автор отрицает (наряду с Фрэнсисом

Брэдли), что все события во вселенной выстраиваются во временной ряд. Он доказывает, что число возможных вариантов человеческого опыта не бесконечно и что довольно одного лишь «повторения», чтобы продемонстрировать обманчивость времени… К несчастью, доказательства этой обманчивости выглядели столь же обманчиво; Хладик по привычке перебрал их, растерянно и безразлично. Когда-то он сочинил цикл экспрессионистских стихов, и они, к смущению автора, попали в одну антологию 1924 года, с тех пор ни одна из последующих антологий не обходилась без них. Все это прошлое, результат ошибок и слабостей, Хладик хотел бы искупить стихотворной драмой «Враги». (Хладик был сторонником стихотворной формы, поскольку она не позволяет зрителю забыть о нереальности, что составляет непременное условие искусства.)

В драме соблюдалось единство времени, места и действия; она разыгрывалась на Градчанах, в библиотеке барона Ремерштадта, в один из вечеров на исходе девятнадцатого века. В первой сцене первого действия Ремерштадта посещает неизвестный. (Часы бьют семь, на стеклах играют последние лучи солнца, ветер доносит знакомую огневую венгерскую мелодию.) За этим визитом

следуют еще несколько; Ремерштадт не знает докучливых посетителей, но не может отделаться от тягостного чувства, будто уже видел их, возможно во сне. Хотя речи визитеров звучат преданно и даже льстиво, сначала зрителям, а потом и самому барону становится понятно, что перед ним тайные враги, составившие заговор, чтобы погубить его. Ремерштадту удается воспрепятствовать замысловатым интригам; речь заходит о его невесте, Юлии де Вайденау, и о некоем Ярославе Кубине[200], который когда-то докучал ей своею любовью. Теперь он сошел с ума и воображает себя Ремерштадтом… Опасности множатся; в конце второго действия Ремерштадт оказывается вынужден убить одного из заговорщиков. Начинается третье, последнее действие. Растет число несообразностей; возвращаются действующие лица, роль которых, казалось, уже исчерпана; на мгновение вновь появляется человек, убитый Ремерштадтом. Кто-то замечает, что вечер не настает: часы бьют семь, в высоких окнах горит закатное солнце, в воздухе звучит

[200] Примечания: 200

Кубин — возможно, фамилия героя заимствована у австрийского писателя и художника-экспрессиониста Альфреда Кубина (1887–1959), близкого к кругу Кафки и не раз упомянутого в его дневниках. *(Прим. Б. Дубин)*

огневая венгерская мелодия. Появляется первый визитер Ремерштадта и повторяет реплику, которую уже произносил в первой сцене первого действия. Ремерштадт отвечает ему без удивления; зритель понимает, что Ремерштадт — это несчастный Ярослав Кубин. Никакой драмы нет: это вновь и вновь возвращающийся бред, который Кубин беспрестанно воскрешает в памяти.

Хладик ни разу не задавался вопросом, хороша или дурна его трагикомедия ошибок, следует ли она канонам или являет собой нагромождение случайностей. В наметившемся сюжете он чувствовал вымысел, способный возвыситься над несовершенствами текста и дать выражение (в символической форме) главному в его жизни. Он уже закончил первое действие и одну из сцен третьего; стихотворная форма пьесы позволяла ему постоянно выверять ее, шлифуя гекзаметры, не прибегая к рукописи. Он подумал, что два действия не дописаны, а его ждет скорая смерть. В темноте он обратился к Богу. *Если я каким-то образом существую, если я не одна из Твоих ошибок или повторов, то существую как автор «Врагов». Чтобы закончить эту драму, которая станет оправданием мне и Тебе, нужен еще год. Дай мне его. Ты, владеющий веками и временем.*

Шла последняя ночь, самая страшная, но десять минут спустя сон, как темная вода, поглотил его.

На рассвете ему приснилось, что он находится в нефе библиотеки Клементинума. Библиотекарь в черных очках обратился к нему: *«Что вы ищете?»* Хладик ответил ему: *«Я ищу Бога».* Библиотекарь сказал: *«Бог — в одной из букв на одной из страниц одного из четырехсот тысяч томов Клементинума. Мои предки и предки моих предков искали эту букву, я потерял зрение, ища ее».* Он снял очки, и Хладик увидел его мертвые глаза. Один из читателей подошел вернуть атлас. *«Этот атлас никуда не годится»,* — сказал он, протянув том Хладику. Тот открыл его наугад. На развороте пестрела карта Индии, от которой кружилась голова. С внезапной уверенностью он коснулся одной из мельчайших букв. Всепроникающий голос произнес: *«Тебе дано время на твою работу».* Тут Хладик проснулся.

Сны посылает Бог, подумал он и вспомнил, что писал Маймонид[201]: слова в снах божественны, если звучат ясно и внятно, а произнесшего их увидеть нельзя. Он оделся; в камеру вошли два солдата и приказали ему следовать за ними.

---

[201] Примечания: 201

Маймонид — цитируется его трактат «Путеводитель колеблющихся» (II, 45). *(Прим. Б. Дубин)*

Хладику казалось, что по ту сторону двери его ждет лабиринт галерей, лестниц, пристроек. Действительность оказалась беднее: они спустились во внутренний двор по единственной железной лестнице. Несколько солдат — один в расстегнутом мундире — возились с мотоциклом и спорили. Сержант взглянул на часы: было восемь сорок четыре. Следовало дождаться девяти. Хладик, скорее неприкаянный, чем несчастный, уселся на поленницу. Сержант предложил ему сигарету, чтобы скоротать время. Хладик не курил, но сигарету взял безропотно и учтиво. Прикуривая, он заметил, что руки дрожат. День хмурился; солдаты разговаривали между собой, понизив голос, как если бы он был уже мертв. Он безуспешно пытался вызвать в памяти образ женщины, отображением которой была Юлия де Вайденау…

Солдаты построились в каре. Хладик стоял у стены казармы, ожидая выстрелов. Кто-то побоялся, что кровь может испачкать стену, и ему приказали сделать несколько шагов вперед. По нелепой ассоциации Хладику вспомнились суетливые приготовления фотографов к съемке. Тяжелая капля дождя упала на висок Хладика и медленно заскользила по щеке; сержант выкрик-

нул слова команды.

Мир застыл.

Винтовки были нацелены на Хладика, но люди, которые должны были убить его, остались недвижимы. Рука сержанта замерла, не окончив жеста. На одну из каменных плиток двора падала неподвижная тень пчелы. Воздух стоял как нарисованный. Хладик хотел крикнуть что-то, попытался махнуть рукой. Он понял, что парализован. До него не доходило ни малейшего шума из окаменевшего мира. Он думал: *«Я в аду, я умер. Я сошел с ума».* Время остановилось. Затем он рассудил, что в таком случае должна была остановиться и его мысль. Он захотел проверить это: прочел (не шевеля губами) таинственную четвертую эклогу Вергилия. Он представил себе, что внезапно ставшие далекими солдаты охвачены тою же тревогой, и ощутил страстное желание поговорить с ними. Его удивляло, что он не чувствует ни усталости, ни даже головокружения, так долго стоя неподвижно. На какое-то время он заснул, а проснувшись, застал мир таким же глухим и окаменелым. На его щеке оставалась та же капля, с каменной плитки не сдвинулась тень пчелы; дым брошенной им сигареты продолжал подниматься струйкой. Прошел еще «день»,

прежде чем Хладик понял.

Он просил у Бога год для окончания своей работы: всемогущий дал ему этот год. Бог совершил ради него тайное чудо: его убьет в назначенный срок немецкая пуля, но в его мозгу от команды до ее выполнения пройдет год. Растерянность сменилась изумлением, изумление — смирением, смирение — страстной благодарностью.

Он не располагал ничем, только памятью; заучивание каждого гекзаметра наполняло его счастливым чувством, о котором не подозревают те, кто легко пишет и легко забывает случайные, недолговечные и неопределенные пассажи. Он работал не для будущего и даже не для Бога, чьи литературные вкусы малоизвестны. Тщательно, неподвижно, тайно он возводил во времени свой высокий лабиринт. Ему пришлось два раза переделывать третье действие. Он убрал слишком явные символы: звон колоколов, музыку. Ничто не мешало ему. Он сокращал, менял, добавлял, в одном случае вернулся к первоначальному варианту. Он полюбил казарму. Одно из лиц построившихся напротив него людей придало новые черты характеру Ремерштадта. Ему также стало ясно, что неблагозвучия, в свое время так

беспокоившие Флобера[202], — простое заблуждение: это бессилие и тщета слова написанного, а не звучащего... Он окончил драму: не хватало лишь одного эпитета. Он нашел его; дождевая капля поползла по щеке. Он что-то неразборчиво крикнул, лицо его дернулось, залп четырех винтовок свалил его с ног.

Яромир Хладик умер утром двадцать девятого марта, в девять часов две минуты.

1943 г.

Перевод В. Кулагиной-Ярцевой

---

[202] Примечания: 202

...неблагозвучия... беспокоившие Флобера... — Г. Флобер считал, что звукосочетания (рифмы и др.) в прозе совершенно недопустимы. *(Прим. Б. Дубин)*

Три версии предательства Иуды

There seemed a certainty in degradation.
***T. E. Lawrence. Seven Pillars of Wisdom, CIII*[203]**

В Малой Азии или в Александрии, во втором веке нашей религии, когда Василид заявлял, что космос — это дерзновенная или злокозненная импровизация ущербных ангелов, Нильс Рунеберг[204] с его исключительной интеллектуальной страстностью, вероятно, возглавлял бы какую-нибудь из гностических общин. Данте, возможно, предназначил бы ему огненную могилу; его имя удлинило бы списки младших ересиархов, став между Саторнилом и Карпократом; какой-нибудь фрагмент из его пропове-

---

[203] Примечания: 203

В деградации была как бы некая надежность. — *Т. Э. Лоуренс. Семь столпов Мудрости (англ.).*

[*Томас Эдвард Лоуренс* (Лоуренс Аравийский, 1888–1935) — английский разведчик на арабском Востоке, переводчик Гомера; его автобиографический труд перевела на испанский Виктория Окампо, кроме того, написавшая о нем книгу. Борхес писал о Лоуренсе в журналах «Юг» и «Очаг» в 1936 г., в 1947 г. перевел фрагмент его мемуарной книги. *(Прим. Б. Дубин)*]

[204] Примечания: 204

Рунеберг (буквально: «скала письмен») — фамилия мелькала в рассказе «Сад расходящихся тропок». *(Прим. Б. Дубин)*

дей, обрамленный поношеньями, сохранился бы в апокрифической «Liber adversus omnes haereses»[205], [206] или бы погиб, когда пожар какой-нибудь монастырской библиотеки пожрал бы последний экземпляр «Syntagma»[207], [208]. Вместо всего этого Бог назначил ему в удел XX век и университетский город Лунд. Там в 1904 году он опубликовал первое издание «Kristus och Judas»[209], там же в 1909 году вышла его главная книга — «Den hemlige Frälsaren»[210]. (Последняя имеется в немецком переводе, выполненном в 1912 году Эмилем Шерингом[211], и называется «Der heimliche Heiland»[212].)

Прежде чем приступить к обзору этих безрассудных книг, необходимо напомнить, что Нильс Рунеберг, член Национального евангелического

---

[205] Примечания: 205

«Книга против всех ересей» *(лат.).*

[206] Примечания: 206

«Liber adversus omnes haereses» — труд Иринея Лионского либо «Опровержение всех ересей» («Философумена») Ипполита Римского (ок. 160 или 170–235). *(Прим. Б. Дубин)*

[207] Примечания: 207

«Синтагма» *(лат.).*

[208] Примечания: 208

«Syntagma» — синтагма против еретиков, принадлежащая Иустину Мученику (в сокращении передана Иринеем), или не сохранившаяся синтагма против всех ересей Ипполита Римского. *(Прим. Б. Дубин)*

[209] Примечания: 209
«Христос и Иуда» *(швед.).*

[210] Примечания: 210
«Тайные спасители» *(швед.).*

[211] Примечания: 211
Эмиль Шеринг (1873–1951) — немецкий литератор, переводчик А. Стриндберга. *(Прим. Б. Дубин)*

[212] Примечания: 212
«Тайный спаситель» *(нем.).*

общества, был искренне религиозен. Где-нибудь в литературном кружке Парижа или даже Буэнос-Айреса какой-нибудь литератор мог бы без опасений вытащить на свет тезисы Рунеберга; тезисы эти, изложенные в литературном кружке, были бы легкомысленным, праздным занятием для равнодушных или кощунственных умов. Для Рунеберга же они были ключом к разгадке главной тайны богословия, были предметом медитации и анализа, исторических и филологических контроверз, предметом гордости, ликования и ужаса. Они стали в его жизни оправданием ее и погибелью. Читателям этой статьи следует также помнить, что в ней приведены лишь выводы Рунеберга, но нет его диалектических рассуждений и его доказательств. Кое-кто, пожалуй, заметит, что вывод тут, несомненно, предшествовал «доказательствам». Но кто же стал бы искать доказательств тому, во что сам не верит и в проповеди чего не заинтересован?

Первое издание «Kristus och Judas» было снабжено категорическим эпиграфом, смысл которого в последующие годы будет чудовищно расширен самим Нильсом Рунебергом: *«Не одно дело, но*

все дела[213]*, приписываемые традицией Иуде Искариоту, — это ложь» (Де Куинси, 1857).* Имея тут предшественником одного немца, Де Куинси пришел к заключению, что Иуда предал Иисуса Христа, дабы вынудить его объявить о своей божественности и разжечь народное восстание против гнета Рима; Рунеберг же предлагает оправдание Иуды метафизического свойства. Весьма искусно он начинает с убедительной мысли о том, что поступок Иуды был излишним. Он (подобно Робертсону[214]) указывает, что для опознания учителя, который ежедневно проповедовал в синагоге и совершал чудеса при тысячном стечении народа, не требовалось предательства кого-либо из апостолов. Однако оно совершилось. Предполагать в Писании ошибку недозволительно; не менее недозволительно допустить случайный эпизод в самом знаменательном событии истории человечества. Ergo[215], предательство Иуды не было случайным; оно было

---

[213] Примечания: 213

«Не одно дело, но все дела...» — Из эссе Де Куинси «Иуда Искариот». *(Прим. Б. Дубин)*

[214] Примечания: 214

Джон Маккинон Робертсон (1856–1953) — английский историк раннего христианства. *(Прим. Б. Дубин)*

[215] Примечания: 215

Следовательно *(лат.)*.

деянием предопределенным, занимающим свое таинственное место в деле искупления. Рунеберг продолжает. Слово, воплотившись, перешло из вездесущности в ограниченное пространство, из вечности — в историю, из безграничного блаженства — в состояние изменчивости и смерти; было необходимо, чтобы в ответ на подобную жертву некий человек, представляющий всех людей, совершил равноценную жертву. Этим человеком и был Иуда Искариот. Иуда, единственный из апостолов, угадал тайную божественность и ужасную цель Иисуса. Слово опустилось до смертного; Иуда, ученик Слова, мог опуститься до предательства и до обитателя геенны огненной. Миропорядок внизу[216] — зеркало миропорядка горнего; земные формы соответствуют формам небесным; пятна на коже — карта нетленных созвездий; Иуда, неким таинственным образом, — отражение Иисуса. Отсюда тридцать сребреников и поцелуй, отсюда добровольная смерть, чтобы еще верней заслужить Проклятие. Так разъяснил Нильс Рунеберг загадку Иуды.

---

[216] Примечания: 216

Миропорядок внизу — зеркало… — Как указывает сам Борхес в новелле «Богословы», это цитата из каббалистического трактата испано-еврейского мыслителя Моисея Леонского «Зогар» («Книга сияния»); впрочем, аналогичное рассуждение есть уже в герметической «Изумрудной скрижали». *(Прим. Б. Дубин)*

Все христианские богословы отвергли его доводы. Ларс Петер Энгстрем обвинил его в незнании или в умолчании о единстве ипостасей; Аксель Борелиус — в возрождении ереси докетов[217], отрицавших человеческую природу Иисуса; язвительный епископ Лунда — в противоречии с третьим стихом двадцать второй главы Евангелия от Луки[218].

Разнообразные эти анафемы возымели действие — Рунеберг частично переработал раскритикованную книгу и изменил свои взгляды. Он оставил своим противникам область богословия и выдвинул косвенные доказательства нравственного рода. Он согласился, что Иисус, «располагавший необозримыми средствами, которые дает Всемогущество», не нуждался в одном человеке для спасения всех людей. Затем он опроверг тех, кто утверждал, будто мы ничего не знаем о загадочном предателе; мы знаем, говорил он, что он был одним из апостолов, одним из из-

---

[217] Примечания: 217

Докеты — так в раннем христианстве назывались приверженцы учения, для которого плоть была дьявольским наваждением, а потому телесные страдания Христа — призрачными. *(Прим. Б. Дубин)*

[218] Примечания: 218

...с третьим стихом двадцать второй главы Евангелия от Луки. — «Вошел же Сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати». *(Прим. Б. Дубин)*

бранных возвещать Царство Небесное, исцелять больных, очищать прокаженных, воскрешать мертвых и изгонять бесов (Мф 10: 7–8; Лк 9: 1). Муж, столь отличенный Спасителем, заслуживает, чтобы мы толковали его поведение не так дурно. Приписывать его преступление алчности (как делали некоторые, ссылаясь на Ин 12: 6[219]) означает примириться с самым низменным стимулом. Нильс Рунеберг предлагает противоположный стимул: гипертрофированный, почти безграничный аскетизм. Аскет, ради вящей славы Божией, оскверняет и умерщвляет плоть; Иуда сделал то же со своим духом. Он отрекся от чести, от добра, от покоя, от Царства Небесного, как другие, менее героические, отрекаются от наслажденья[220]. С потрясающей ясностью он заранее продумал свои грехи. В прелюбодеянии обычно участвуют нежность и самоотверженность; в убийстве — храбрость; в профанациях и кощунстве — некий сатанинский пыл. Иуда же избрал грехи не просветленные ни единой

[219] Примечания: 219

…ссылаясь на Ин 12: 6… — «Сказал же он [Иуда] это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». *(Прим. Б. Дубин)*

[220] Примечания: 220

Борелиус насмешливо вопрошает: «Почему он не отрекся от отречения? Почему не отрекся от отречения отречения?»

добродетелью: злоупотребление доверием (Ин 12: 6) и донос. В его поступках было грандиозное смирение, он считал себя недостойным быть добрым. Павел писал: «Хвалящийся хвались Господом» (1 Кор 1: 31); Иуда искал Ада, ибо ему было довольно того, что Господь блажен. Он полагал, что блаженство, как и добро, — это атрибут божества и люди не вправе присваивать его себе[221].

Многие постфактум обнаружили, что во вполне допустимых первых шагах Рунеберга уже заключался экстравагантный финал и что «Den hemlige Frälsaren» — это просто извращение или доведение до края книги «Kristus och Judas». В конце 1907 года Рунеберг завершил и отредактировал рукописный текст; прошло почти два года, прежде чем он отдал его в печать. Книга

---

[221] Примечания: 221

Эуклидис да Кунья в книге, Рунебергу неизвестной, замечает, что для ересиарха из Канудуса, Антониу Консельейру, добродетель была «почти нечестивостью». Аргентинский читатель тут вспомнит аналогичные пассажи в произведениях Альмафуэрте. В символистском журнале «Шю инсегель» Рунеберг опубликовал трудоемкую описательную поэму «Потаенные воды»; в первых строфах излагаются события бурного дня; в последних описан случайно найденный ледяной пруд; поэт дает понять, что существование этих безмолвных вод умеряет наши бессмысленные метания и в какой-то мере их дозволяет и искупает. Поэма заканчивается так: «Воды в лесу блаженны; а нам дозволено быть злыми и страдать».

[*Эуклидис да Кунья* (1866–1909) — бразильский историк и писатель, в документальной книге «Сертаны» (1902) описал крестьянское восстание 1896–1897 гг. в Канудусе; его возглавил бродячий проповедник

Антонию Консельейру (ок. 1850–1897), «ересиарх II века в гуще современной эпохи», «неграмотный гностик», для которого «добродетель была наивысшим выражением суетного тщеславия, почти нечестивостью» (гл. 2, ч. 5) …*Альмафуэрте* (собственно Педро Бонифасио Паласьос, 1854–1917) — аргентинский писатель; ранняя заметка Борхеса о нем вошла в книгу «Язык аргентинцев», а эссе 1942 г. «Теория Альмафуэрте» стало затем предисловием к составленному Борхесом то́му его поэзии и прозы (1962) …*«Потаенные воды»* — стихотворение У. Б. Йейтса. *(Прим. Б. Дубин)*]

появилась в октябре 1909 года с предисловием (туманным до загадочности) датского гебраиста Эрика Эрфьорда и с таким коварным эпиграфом: «В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал» (Ин 1: 10). Содержание в целом не слишком сложно, хотя заключение чудовищно. Бог снизошел до того, чтобы стать человеком, рассуждает Нильс Рунеберг, ради спасения рода человеческого; следует полагать, что содеянная им жертва была само совершенство, не запятнанное и не ослабленное какими-либо изъянами. Ограничивать его страдания агонией на кресте в течение одного вечера — кощунственно[222]. Утверждение, что он был человеком и был не способен согрешить, содержит в себе противоречие: атрибуты impeccabilitas[223] и humanitas[224]

---

[222] Примечания: 222

Морис Абрамовиц заметил: «Согласно этому скандинаву, Иисус всегда в выигрышной роли: его злоключения благодаря типографскому искусству пользуются многоязычной славой; его тридцатитрехлетнее пребывание среди нас, смертных, было, по сути, неким дачным отдыхом» (в подлиннике — по-французски). Эрфьорд в третьем приложении к «Christelige Dogmatik» ‹«Христианская догматика» *(дат.)*› опровергает это суждение. Он говорит, что мучения Бога на кресте не прекратились, ибо происшедшее однажды во времени непрестанно повторяется в вечности. Иуда и ныне продолжает получать сребреники; продолжает целовать Иисуса Христа; продолжает бросать сребреники в храме; продолжает завязывать веревочную петлю на залитом кровью поле. (В подкрепление этой мысли Эрфьорд ссылается на последнюю главу первого тома «Оправдания вечности» Яромира Хладика.)

[*Морис Абрамовиц* (1901–1981) — друг женевской юности Борхеса,

его товарищ по лицею, в молодости поэт, потом — адвокат. Борхес перевел в юности несколько его стихов и посвятил ему в старости два стихотворения в книге «Порука» *...«Оправдание вечности» Яромира Хладика.* — См. новеллу «Тайное чудо» и комментарий к ней. *(Прим. Б. Дубин)*]

[223] Примечания: 223

Непогрешимость *(лат.).*

[224] Примечания: 224

Вочеловеченность *(лат.).*

несовместимы. Кемниц[225] допускает, что Спаситель мог испытывать усталость, холод, волнение, голод и жажду; следует также допустить, что он мог согрешить и погубить свою душу. Знаменитое место: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия… Он был презрен и умален пред людьми; муж скорбей и изведавший болезни» (Ис 53: 2–3) — это для многих предсказание о распятом в час его гибели; для некоторых (например, для Ханса Лассена Мартенсена) — отрицание красоты в облике Христа, обычно приписываемой ему в народном предании; для Рунеберга же — точное пророчество не одного мига, но всего ужасного будущего для воплотившегося Слова во времени и в вечности. Бог стал человеком полностью, но стал человеком вплоть до его низости, человеком вплоть до мерзости и бездны. Чтобы спасти нас, он мог избрать любую судьбу из тех, что плетут сложную сеть истории: он мог стать Александром, или Пифагором, или Рюриком, или Иисусом; он избрал самую презренную судьбу: он стал Иудой.

Напрасно книжные лавки Стокгольма и Лунда сообщали об этом откровении. Неверующие

---

[225] Примечания: 225

Мартин Кемниц (1522–1586) — немецкий богослов. *(Прим. Б. Дубин)*

априори сочли его нелепой и вымученной богословской игрой; богословы отнеслись с пренебрежением. В этом экуменическом равнодушии Рунеберг усмотрел почти чудесное подтверждение своей идеи. Бог повелел быть равнодушию; Бог не желал, чтобы на земле стала известна Его ужасающая тайна. Рунеберг понял, что еще не пришел час. Он почувствовал, что на его голову обрушиваются все древние проклятия Господни; он вспомнил Илью и Моисея, которые на горе закрыли себе лица, чтобы не видеть Бога; Исайю, павшего ниц, когда его глаза узрели Того, чьей славой полнится земля; Саула, глаза которого ослепли на пути в Дамаск; раввина Симона Бен-Аззаи[226], который узрел Рай и умер; знаменитого колдуна Джованни из Витербо[227], который обезумел, когда ему удалось узреть

[226] Примечания: 226

Симон Бен-Аззаи (II в.) — еврейский законоучитель, его прославленное благочестие отразилось в легенде об увиденном им рае (Хагига, 146). *(Прим. Б. Дубин)*

[227] Примечания: 227

Джованни из Витербо — вероятно, имеется в виду Джованни Нанни, Анний из Витербо (1432–1502), итальянский монах-доминиканец, оккультный мыслитель, ученик известного герметика, кардинала Эджидио из Витербо (Эгидия Палеолога); вслед за наставником искал истоки древней мудрости у этрусков, в Халдее и Арамее. *(Прим. Б. Дубин)*

Троицу; мидрашим[228], которые презирают нечестивцев, произносящих Шем-Гамфораш, Тайное Имя Бога. А не стал ли он повинен в этом таинственном преступлении? Не была ли его мысль кощунством против Духа, хулою, которой не будет прощения (Мф 12: 31[229])? Валерий Соран умер из-за того, что разгласил тайное имя Рима; какая же бесконечная кара будет назначена ему за то, что он открыл и разгласил грозное имя Бога?

Пьяный от бессонницы и умопомрачительных рассуждений, Нильс Рунеберг бродил по улицам Мальме, громко умоляя, чтобы ему была дарована милость разделить со Спасителем мучения в Аду.

Он скончался от разрыва аневризмы первого марта 1912 года. Ересиологи, вероятно, будут о нем вспоминать; образ Сына, который, казалось, был исчерпан, он обогатил новыми чертами — зла и злосчастия.

1944 г.

Перевод Е. Лысенко

---

[228] Примечания: 228

Мидрашим — комментаторы Талмуда. *(Прим. Б. Дубин)*

[229] Примечания: 229

Мф 12: 31 — «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам; а хула на духа не простится человекам». *(Прим. Б. Дубин)*

Конец[230]

Лежа навзничь, Рекабаррен приоткрыл глаза и увидел скошенный камышовый потолок. Из соседней комнаты доносилось треньканье гитары. Мелодия казалась жалким лабиринтом, который то скручивается, то раскручивается… Мало-помалу он вернулся к действительности, к повседневным мелочам, которые теперь никогда уже не изменятся. Без сожаления посмотрел на свое грузное, бесполезное тело, на пончо из грубой шерсти, обернутое вокруг ног. В зарешеченном окне виднелась вечерняя равнина; он спал долго, но небо все еще исходило светом. Пошарив левой рукой, он нащупал медный колокольчик, висевший в изножии кровати, звякнул раз-другой; из-за двери продолжали доноситься незамысловатые аккорды. Гитаристом был негр,

---

[230] Примечания: 230

Новелла травестирует мотивы поэмы Эрнандеса «Мартин Фьерро», в которую Борхесом здесь введен вымышленный персонаж-свидетель. С другой стороны, она сложно перекликается с новеллой «Юг» (кстати, обе они, написанные в один год, введены в состав сборника «Вымышленные истории» лишь со второго издания) и связана с микроновеллой «Мартин Фьерро» (сб. «Создатель»). Многократное переписывание и транспонирование одного сюжета — черта борхесовской поэтики. *(Прим. Б. Дубин)*

который как-то ночью вздумал похвастаться своими способностями: вызвал другого чужака состязаться в пении под аккомпанемент гитары. Побежденный, он тем не менее продолжал наведываться в лавку, словно ждал кого-то. Часами бренчал на гитаре, хотя петь больше не решался. Видимо, поражение сломило его. Завсегдатаи привыкли к этому безобидному человеку. Рекабаррен, владелец лавки, никогда не забудет этого состязания: на другой день, когда он взваливал на мула тюк мате, у него отнялась правая половина тела и он потерял дар речи. Сострадая несчастьям выдуманных героев, мы начинаем с особым пылом жалеть самих себя; не так обстояло дело с Рекабарреном, который отнесся к своему параличу с тем же спокойствием, с каким воспринял когда-то грубость и запустение этого континента. Привыкнув, подобно животным, жить только настоящим, он смотрел на небо, размышляя о том, что багровый цвет полной луны предвещает несчастье.

Мальчик с индейскими чертами лица (возможно, его сын) заглянул в дверь. Рекабаррен спросил его взглядом — есть ли кто в лавке. Неразговорчивый мальчик объяснил знаками, что никого нет. Негра, понятно, никто в расчет не принимал.

Лежавший снова остался в одиночестве. Левой рукой он поигрывал колокольчиком, словно тот наделял его какой-то властью.

Залитая закатным солнцем равнина казалась нереальной, будто пригрезившейся во сне. На горизонте появилась точка, она росла, пока не превратилась во всадника, скакавшего по направлению к лавке. Рекабаррен увидел широкополую шляпу, длинное темное пончо, вороного коня, но лица разглядеть не мог; всадник натянул поводья и перешел с галопа на рысь. Рекабаррен уже не мог его видеть — только слышал, как тот что-то говорит, спешивается, привязывает лошадь к ограде и твердым шагом входит в дом.

Не подымая глаз от гитары, словно ища в ней что-то, негр мягко произнес:

— Я был уверен, сеньор, что могу на вас рассчитывать.

— А я — на тебя, черномазый, — резко отозвался незнакомец. — Я заставил тебя ждать несколько дней, но теперь я здесь.

Последовало молчание. Наконец негр ответил:

— Я привык ждать. Семь лет ждал.

Незнакомец неторопливо объяснил:

— А я семь лет не видел своих детей. Мы только сегодня встретились. Зачем им было знать, что я

спешу на схватку?

— Понимаю, — сказал чернокожий. — И надеюсь, что вы оставили их в добром здравии.

Незнакомец, усевшийся тем временем за стол, расхохотался во все горло. Потом спросил себе рому. И пил с удовольствием, пока не осушил весь стакан.

— Я дал детям хороший совет, — заявил он. — Мне это ничего не стоит, а им пойдет на пользу. Сказал, между прочим, что человек не должен проливать кровь человека.

Медленный аккорд предшествовал ответу негра:

— И хорошо сделали. Значит, они не будут похожи на нас.

— По крайней мере, на меня, — сказал незнакомец. И добавил, будто размышляя вслух: — Судьба заставила меня убивать — и вот снова вкладывает в руку нож.

Негр, словно не расслышав, заметил:

— Осенний день короток.

— Мне света достаточно, — отозвался незнакомец, поднимаясь, и со странной усталостью добавил: — Отложи гитару. Сегодня тебя ждет другая игра.

Они направились к двери. Выходя, негр про-

бормотал:

— Надеюсь, теперь мне будет не так тяжело, как в тот раз.

— Тебе и в тот раз не было трудно, — серьезно ответил незнакомец. — Просто ты хотел, чтобы мы сошлись снова.

Они отошли уже довольно далеко от дома. Равнина была всюду одной и той же. Над ней сияла луна. Внезапно они смерили друг друга взглядом, остановились, и незнакомец нагнулся, чтобы отцепить шпоры. Они уже обернули локти плащами, когда негр сказал:

— Попрошу у вас об одном одолжении перед тем, как мы сойдемся. Я хочу, чтобы вы вложили в эту схватку все свое мужество. Как тогда, семь лет назад, когда вы убили моего брата.

Быть может, впервые за все время разговора Мартин Фьерро уловил в голосе противника нотку ненависти. Они столкнулись — и острая сталь полоснула по лицу чернокожего.

Бывает час, когда равнина будто силится сказать что-то. Но никогда ничего не говорит, а может быть, никогда не смолкает, только мы ее не слышим или не понимаем речей, невыразимых, как музыка.

…Со своего ложа Рекабаррен видел конец. Удар

— и негр отступает, теряет опору, но, извернувшись, делает ложный выпад и резким тычком пронзает грудь противника. Затем следует еще один удар, которого владельцу лавки не удалось рассмотреть, — удар, после которого Фьерро уже не поднялся. Стоя над поверженным врагом, негр как будто следил за его трудной агонией. Потом вытер нож о дерновину и, не оборачиваясь, пошел обратно. Завершив свое праведное дело, он снова стал никем. Точнее, незнакомцем, которому уже нечего делать на земле, ибо он убил человека.

Перевод Ю. Стефанова

Секта Феникса[231]

Те, кто пишет, будто секта Феникса берет начало в Гелиополе, и возводит ее истоки к религиозной реставрации, последовавшей за смертью реформатора Аменофиса IV[232], ссылаются на тексты Геродота, Тацита и египетских пирамид, но упускают (или хотели бы упустить) из виду тот факт, что слово «феникс» в названии секты встречается впервые лишь у Рабана Мавра[233], а более древние источники — скажем, «Сатурналии»[234] либо Иосиф Флавий — говорят просто о Народе Обычая или же Народе Тайны. Уже Грегоровиус[235], повествуя о тайных общинах в Ферраре, заметил, что слово «феникс» встречается в разговорном

---

[231] Примечания: 231

Новелла восходит к эссе Де Куинси «Тайные общества»; опубликована в 1952 г. и с 1956 г. включается в переиздания книги «Вымышленные истории». *(Прим. Б. Дубин)*

[232] Примечания: 232

Аменофис IV — египетский фараон Аменхотеп IV. *(Прим. Б. Дубин)*

[233] Примечания: 233

Рабан Мавр (780–856) — франкский богослов и педагог, архиепископ Майнца, советник Людовика Благочестивого. *(Прим. Б. Дубин)*

[234] Примечания: 234

«Сатурналии» (V в.) — компилятивный труд позднелатинского писателя Амвросия Феодосия Макробия. *(Прим. Б. Дубин)*

[235] Примечания: 235

Фердинанд фон Грегоровиус (1821–1891) — немецкий историк Античности и Средневековья. *(Прим. Б. Дубин)*

языке крайне редко; я в Женеве беседовал с ремесленниками, которые не понимали вопроса, принадлежат ли они к людям Феникса, но тут же соглашались, что они — из людей Тайны. Если не ошибаюсь, то же самое с буддистами: под этим именем их знает весь мир, хотя сами они его не употребляют.

В одном слишком известном пассаже Миклошич[236] сблизил приверженцев Феникса с цыганами. В Чили и Венгрии встречаются, правда, и те и другие, кроме этой своеобразной вездесущности между обоими, пожалуй, немного общего. Цыгане обычно барышничают, лудят, куют, гадают, тогда как члены секты чаще всего — и не без успеха — практикуют свободные профессии. Цыгане принадлежат к ярко выраженному физическому типу и пользуются — или пользовались — особым тайным языком; приверженцы секты легко растворяются в любом окружении, почему и не подвергались никаким преследованиям. Цыгане живописны и вдохновляют слабых поэтов; члены секты не удостоились романсов, лубков и плясок… Мартин Бубер утверждает, что евреи чрезвычайно склонны к патетике; обо всех

[236] Примечания: 236

Франц Миклошич (1813–1891) — австрийский филолог-славист, историк языка и литературы. *(Прим. Б. Дубин)*

приверженцах секты я бы так не сказал: многие попросту не переносят пафоса; этой общедоступной и неоспоримой истины вполне достаточно, чтобы опровергнуть распространенную (и, как ни странно, разделяемую Урманном[237]) ошибку тех, кто видит в секте потомков Израиля. Рассуждают примерно так: Урманн — человек впечатлительный; Урманн — еврей; Урманн бывал у членов секты из числа пражских евреев; взволновавшее Урманна сродство и служит доказательством факта. Говоря откровенно, не могу согласиться с подобными рассуждениями. Если члены секты еврейского происхождения похожи на евреев, то это решительно ничего не доказывает; бесспорно одно: словно неисчерпаемый хэзлиттовский Шекспир, они похожи на любого человека. Они, по словам апостола, стали всем для всех[238]; недавно доктор Хуан Франсиско Амаро[239] из Пайсанду исследовал легкость, с

---

[237] Примечания: 237

Урманн — то есть прачеловек *(нем.). (Прим. Б. Дубин)*

[238] Примечания: 238

...по словам апостола, стали всем для всех... — 1 Кор 9: 22; ср. во «Фрагментах» Новалиса: «Когда-то поэт был всем для всех...» *(Прим. Б. Дубин)*

[239] Примечания: 239

Хуан Франсиско Амаро — персонаж новеллы Борхеса «Вторая смерть» (сб. «Алеф», 1945). *(Прим. Б. Дубин)*

какой они приживаются в любой части света.

Я сказал, что история секты не упоминает о гонениях. Это верно, но, поскольку нет такой группы людей, среди которых не было бы приверженцев Феникса, правда и то, что нет таких гонений и мук, которых бы они не приняли и не перенесли. В сражениях на Западе и в далеких битвах на Востоке им доводилось век за веком проливать кровь под знаменами обеих сторон; они без труда причисляли себя к любой нации мира.

Без священной книги, сплотившей их, как Писание — Израиль, без общих воспоминаний и без этой второй памяти — единого языка, рассеянные по лицу земли, разнящиеся цветом кожи и чертами облика, они связаны ныне и до конца дней только одним — Тайной. Когда-то, кроме Тайны, бытовала еще легенда (или космогонический миф), но не склонные углубляться люди Феникса позабыли ее и хранят лишь темное предание о каре. О каре, завете или отличии — версии расходятся, и в них уже едва различим приговор Бога, обещавшего племени бессмертие, если люди его поколение за поколением будут исполнять обряд. Я собрал свидетельства путешественников, беседовал с патриархами, богословами и

могу с уверенностью сказать: исполнение обряда — единственная религиозная практика, которой придерживаются члены секты. Обряд и составляет Тайну. Он, как уже говорилось, передается из поколения в поколение, но обычно к нему приобщают не матери и не жрецы: посвящение в Тайну — дело людей самого низкого разбора. Мистагогом служит раб, прокаженный или попрошайка. Даже ребенок может посвятить другого. Само по себе действие банально, мимолетно и не заслуживает описания. Для этого годятся пробка, воск или гуммиарабик. (В литургии упоминается грязь; ее тоже используют.) Для отправления культа нет нужды в особых храмах — достаточно руин, подвала или входной двери. Тайна священна, но при этом несколько смешна; обряд исполняют украдкой, втихомолку, и приобщенные о нем не рассказывают. Общеупотребительных слов для него нет, но он может быть назван любым словом, или, лучше сказать, каждое слово непременно отсылает к нему, и поэтому, что бы я при них ни упоминал, посвященные посмеивались либо смущались, чувствуя, что разговор зашел о Тайне. В германских литературах есть стихи, написанные членами секты; их внешний сюжет — море или сумерки, но по сути они — символы Тайны, и я

слышал, как их молитвенно повторяли. «Orbis terrarum est speculum Ludi»[240], — гласит апокрифическое изречение, внесенное Дю Канжем[241] в «Глоссарий». Одни приверженцы не в силах исполнить простейший обряд из-за какого-то священного ужаса; другие презирают его, но еще больше — себя. Более авторитетны те, кто добровольно отрекся от Обычая и общается с божеством напрямую, без посредников; рассказывая об этом общении, они прибегают к метафорам литургии; так, Сан-Хуан де ла Крус пишет:

> *Девять небес разумеют, что Бог*
>
> *Верному сладостней пробки и грязи*[242].

Я удостоен дружбы не одного из самых горячих приверженцев Феникса во всем мире и убедился: по сути, Тайна представляется им пошлой, тягостной, скучной и, что еще страннее, немыслимой. Они не в силах понять, как это их предки снис-

---

[240] Примечания: 240
Земной мир — зеркало Игры *(лат.).*

[241] Примечания: 241
Шарль Дю Канж (1610–1688) — французский барочный эрудит, литератор и лексикограф. *(Прим. Б. Дубин)*

[242] Примечания: 242
Девять небес разумеют… — Вероятно, мистификация Борхеса. *(Прим. Б. Дубин)*

ходили до таких пустяков. Самое необычайное в том, что Тайна до сих пор жива: вопреки всем земным превратностям, вопреки изгнаниям и войнам она грозно пребывает с каждым верующим. Иные решаются утверждать, что она стала инстинктом.

Перевод Б. Дубина

Юг[243]

Человек, который сошел с корабля в Буэнос-Айресе в 1871 году, носил имя Иоганнес Дальманн и был пастором евангелической церкви; в 1939 году один из его внуков, Хуан Дальманн, служил секретарем в муниципальной библиотеке на улице Кордова и чувствовал себя совершенным аргентинцем. По материнской линии его дедом был тот самый Франсиско Флорес из второго линейного батальона, что погиб в предместьях Буэнос-Айреса от удара копьем в стычке с индейцами Катриэля[244]; из этих несхожих линий Хуан Дальманн (возможно, сыграла роль германская кровь) выбрал линию романтического предка, или романтической гибели. Футляр с выцветшим дагеротипным портретом бородатого человека, старая шпага, счастье и смелость, порой слышимые в музыке, наизусть известные

---

[243] Примечания: 243

Рассказ воспроизводит ряд эпизодов из биографии Борхеса вплоть до несчастного случая в 1938 г. и тяжелой болезни, завершившейся позже утратой зрения. *(Прим. Б. Дубин)*

[244] Примечания: 244

Сиприано Катриэль — индейский вождь, сражался под началом генерала Митре в том бою под Ла-Верде (1874), где погиб дед Борхеса. *(Прим. Б. Дубин)*

стихи «Мартина Фьерро», годы, вялость и замкнутость развили его своеобразный, но не показной креолизм. Дальманн сумел за счет некоторого самоограничения сохранить остатки усадьбы на Юге, принадлежавшей Флоресам; в его памяти запечатлелся ряд бальзамических эвкалиптов и длинный розовый дом, некогда бывший алым. Дела, а возможно, и лень удерживали Дальманна в городе. Лето за летом он довольствовался сознанием, что владеет усадьбой, и уверенностью, что дом дожидается его на своем месте в долине. В конце февраля 1939 года с ним произошел неожиданный случай.

Судьба, равнодушная к человеческим прегрешениям, не прощает оплошностей. В тот вечер Дальманну удалось достать растрепанный экземпляр «Тысячи и одной ночи» Вайля; спеша рассмотреть свое приобретение, он не стал дожидаться лифта и взбежал по лестнице; в темноте что-то задело его лоб — птица, летучая мышь? На лице женщины, открывшей дверь, он увидел ужас; рука, которой он провел по лбу, оказалась в крови. Он порезался об острый край только что окрашенной двери, которую оставили открытой. Дальманн сумел заснуть, но на рассвете проснулся, и с этой минуты все кругом сделалось

непереносимым. Его мучил жар, а иллюстрации к «Тысяче и одной ночи» переплетались с кошмаром. Навещавшие его друзья и родные с принужденной улыбкой твердили, что он прекрасно выглядит. Дальманн растерянно слушал их, не понимая, как они не замечают, что он в аду. Восемь дней протянулись как восемь веков. Как-то вечером доктор, лечивший его, пришел вместе с другим, новым, они повезли его в лечебницу на улице Эквадор, поскольку необходимо было сделать рентгеновский снимок. В наемном экипаже Дальманн решил, что в другой, не своей комнате сумеет наконец уснуть. Он почувствовал себя счастливым и стал словоохотлив; как только они приехали, его раздели, обрили ему голову, прикрутили к кушетке, светили в глаза до слепоты и головокружения, его осмотрели, и человек в маске всадил ему в руку иглу. Он очнулся с приступами тошноты, перебинтованный, в палате, похожей на колодец, и за дни и ночи после операции понял, что до тех пор находился лишь в преддверии ада. Лед не оставлял во рту ни малейшего ощущения прохлады. В эти дни Дальманн проникся ненавистью к своей личности, он возненавидел свои телесные нужды, свое унижение, пробивавшуюся щетину, которая колола ему

лицо. Дальманн стоически переносил процедуры, очень болезненные, но, узнав от хирурга, что чуть не умер от заражения крови, расплакался от жалости к себе. Физические страдания и постоянное ожидание страшных ночей не давали ему думать о таких отвлеченных вещах, как смерть. Но вот хирург сказал, что он поправляется и вскоре сможет поехать долечиваться в усадьбу. Невероятно, но обещанный день настал.

Действительность любит симметрию и некие анахронизмы; Дальманн был доставлен в лечебницу в наемном экипаже, и сейчас наемный экипаж вез его к вокзалу на площади Конститусьон. Первая свежесть осени после летнего зноя казалась символом его судьбы, поборовшей жар и смерть. В семь утра город еще хранил облик старого дома, который придала ему ночь; улицы напоминали длинные коридоры, а площади — дворики. Дальманн узнавал их, чувствуя счастье и легкое головокружение; чуть раньше, чем перед глазами, в памяти вставали перекрестки, афишные тумбы, безыскусные черты Буэнос-Айреса. В желтом свете наступающего дня все возвращалось к нему.

Все знают, что Юг начинается на той стороне улицы Ривадавиа. Дальманн любил повторять,

что это не просто фраза и что, перейдя улицу, оказываешься в мире более древнем и более надежном. По пути он выискивал взглядом среди новых построек то решетчатое окно, то дверной молоток, арку над дверью, подъезд, тихий дворик.

В холле вокзала он обнаружил, что до поезда еще полчаса. Ему вдруг вспомнилось, что в кафе на улице Бразиль (рядом с домом Иригойена) живет огромный кот, который позволяет гладить себя, точно надменное божество. Он вошел. Кот лежал там, спал. Дальманн заказал чашку кофе (это удовольствие в клинике было ему запрещено), не спеша положил сахар, попробовал и подумал, ведя рукой по черному меху, насколько это общение иллюзорно, ведь они как бы разделены стеклом, поскольку человек живет во времени, в череде событий, а сказочный зверь — в сиюминутности, в вечности мгновения.

Во всю длину предпоследнего перрона протянулся поезд. Пройдя несколько вагонов, Дальманн выбрал почти пустой. Он отправил чемодан в сетку. Когда поезд тронулся, он открыл чемодан и вытащил, не без колебания, первый том «Тысячи и одной ночи». Решиться взять с собою книгу, настолько связанную с постигшими его несча-

стьями, служило знаком того, что они миновали, было веселым и тайным вызовом поверженным силам зла.

По сторонам дороги город распадался на пригороды; эта картина, а затем сады и дачи не давали Дальманну начать чтение. Он пытался читать, но тщетно; гора из магнита и джинн, поклявшийся убить своего благодетеля, были, бесспорно, волшебны, но немногим более, чем это утро и само существование. Счастье не давало ему сосредоточиться на Шахразаде с ее напрасными чудесами; Дальманн закрыл книгу и стал просто жить.

Обед (с бульоном, который подавали в мисочках из блестящего металла, как в дни далеких каникул) принес ему еще одно тихое, вызвавшее признательность удовольствие.

Завтра я проснусь в усадьбе, подумал он; он чувствовал себя одновременно как бы двумя людьми: один двигался вперед по этому осеннему дню и по родным местам, другой терпел унизительные обиды, пребывая в отлично продуманной неволе. Перед ним мелькали неоштукатуренные кирпичные дома, вытянутые, со множеством углов, вечно глядящие на проносящиеся поезда, встречались всадники на немощеных дорогах, сменялись овраги, пруды и стада, проносились

длинные светящиеся облака, казавшиеся мраморными, и все это возникало неизвестно откуда и походило на сон, привидевшийся долине. Посевы и деревья казались ему знакомыми, хотя названий он не помнил, ведь его представление о деревенской жизни было в основном ностальгическим и литературным.

Иногда он засыпал, и в его снах ощущалось движение поезда. Ослепляющее белое солнце полудня превратилось в желтое, предвечернее и собиралось стать красным. Вагон тоже не был таким, как на вокзале Конститусьон, когда отходил от перрона: долина и время, пройдя сквозь вагон, преобразили его. Рядом с поездом бежала его тень, вытягиваясь к горизонту. Первозданность земли не нарушалась ни селениями, ни другими следами пребывания человека. Все было огромным, но в то же время близким и каким-то таинственным. В необъятных просторах иногда можно было разглядеть какого-нибудь быка. Одиночество было полным и, возможно, враждебным, и Дальманна охватило чувство, что он путешествует не только на Юг, но и в прошлое. От этого фантастического предположения его отвлек контролер, который, проверив билет, предупредил, что поезд остановится не на той

станции, что обычно, а на предыдущей, едва известной Дальманну. (Контролер пустился в объяснение, которое Дальманн не пытался ни понять, ни дослушать, потому что механизм явлений его не интересовал.)

Поезд с трудом остановился почти посреди поля. На другой стороне путей располагалась станция: перрон, сарай и едва ли еще что. Никакого экипажа там не было, но начальник станции полагал, его можно будет нанять в лавке, в километре-полутора.

Дальманн воспринял эту дорогу как небольшое приключение. Солнце уже скрылось, лишь последние отблески еще освещали притихшую, но полную жизни долину, пока не опустилась ночь. Дальманн шел медленно. Он не боялся устать, а просто хотел продлить радость прогулки. Кругом пахло клевером, и он чувствовал себя совершенно счастливым.

Когда-то альмасен был выкрашен пунцовой краской, но годы смягчили, ему на пользу, пронзительный цвет. Что-то в бедной архитектуре здания напомнило Дальманну гравюру, кажется, из старинного издания «Поля и Виргинии»[245].

---

[245] Примечания: 245

«Поль и Виргиния» (1787) — идиллический роман Ж. А. Бернардена де Сен-Пьера. *(Прим. Б. Дубин)*

К ограде было привязано несколько лошадей. Войдя, Дальманн решил, что хозяин знаком ему, потом понял, что его ввело в заблуждение сходство того с одним из служащих лечебницы. Выслушав, в чем дело, хозяин пообещал заложить бричку; чтобы обогатить день еще одним ощущением и чтобы скоротать время, Дальманн решил поужинать тут же, в альмасене.

За одним из столов шумно ели и пили парни, на которых Дальманн поначалу не обратил внимания. На полу, привалясь к стойке, неподвижный, будто неживой, сидел старик. Годы сточили и обкатали его, как вода камень или как поколения людей мудрую фразу. Смуглый, сухой, с мелкими чертами, он как бы пребывал вне времени, в вечности. Дальманн с удовольствием разглядывал головную повязку, ворсистое пончо, длинные чирипа, сапоги из жеребячьей кожи и вспоминал пустые разговоры с жителями районов Севера или Энтре-Риос о том, что таких гаучо теперь не найти нигде, только на Юге.

Дальманн устроился у окна. Темнота окутывала равнину, но ее запахи и шумы еще проникали сквозь железные прутья. Хозяин подал ему сардины, потом жареное мясо. Дальманн запивал еду красным вином. С удовольствием ощущая во

рту терпкий вкус, он лениво обводил взглядом помещение. С балки свисала керосиновая лампа; посетителей за другим столом было трое: двое были похожи на пеонов с фермы, третий, с грубыми, слегка монголоидными чертами, пил, не сняв шляпы. Вдруг Дальманн почувствовал, как что-то легкое ударилось о его щеку. Рядом со стаканом обычного мутно-зеленого стекла на одной из полосок скатерти лежал шарик хлебного мякиша. Только и всего, но ведь кто-то его бросил.

Сидевшие за другим столом, казалось, не имеют к этому отношения. Растерянный Дальманн решил сделать вид, что ничего не случилось, и раскрыл томик «Тысячи и одной ночи», как бы пытаясь отгородиться от действительности. Через несколько минут в него попал другой шарик, и на этот раз пеоны расхохотались. Дальманн сказал себе, что не боится, но что было бы глупо, не выздоровев как следует, дать втянуть себя в сомнительную драку. Он собрался уйти и уже поднялся на ноги, когда подошел хозяин и встревоженным голосом принялся успокаивать его:

— Сеньор Дальманн, да не обращайте вы на парней внимания, они немного перебрали.

Дальманну не показалось странным, что этот человек называет его по имени, но он почув-

ствовал, что примирительные слова только ухудшили дело. До этого момента глупая выходка пеонов задевала случайного человека, в сущности, никого, теперь же выпад оказался направлен против него лично, и это могло стать известно соседям. Дальманн отстранил хозяина, повернулся к пеонам и спросил, что им нужно.

Парень с узкими раскосыми глазами поднялся, пошатываясь. Стоя в двух шагах от Дальманна, он орал ругательства, будто боясь, что его не услышат. Он хотел казаться пьянее, чем на самом деле, и в этом крылась жестокость и насмешка. Не переставая сыпать ругательствами и оскорблениями, он подбросил кверху длинный нож, ведя за ним взглядом, поймал на лету и вызвал Дальманна драться. Хозяин дрожащим голосом вставил, что Дальманн невооружен. В этот момент произошло нечто неожиданное.

Застывший в углу старый гаучо, который показался Дальманну символом Юга (его Юга), бросил ему под ноги кинжал. Словно сам Юг решил, что Дальманн должен принять вызов. Нагнувшись за кинжалом, он понял две вещи. Во-первых, что это почти непроизвольное движение обязывает его драться. Во-вторых, что оружие в его неловкой руке послужит не защитой ему, а оправданием

его убийце. Когда-то давно он, как все юноши, забавлялся с ножом, но его знания не шли дальше того, что удар следует наносить снизу вверх, а нож держать острием внутрь. *В лечебнице не допустили бы, чтобы со мной случилось что-либо подобное,* подумал он.

— Пошли во двор, — сказал парень.

Они вышли, Дальманн без надежды, но и без страха. Он подумал, переступая порог, что умереть в ножевой драке под открытым небом, мгновенно, было бы для него освобождением, счастьем и праздником в ту первую ночь в лечебнице, когда в него вогнали иглу. Почувствовал, что, если бы тогда мог выбрать или придумать себе смерть, он выбрал бы или придумал именно такую.

Дальманн крепко сжимает нож, которым вряд ли сумеет воспользоваться, и выходит в долину.

Перевод В. Кулагиной-Ярцевой